

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

В ЛЮДЯХ



ЛитРес:

Автобиографическая трилогия

Максим Горький

В людях

«Public Domain»

1914

Горький М.

В людях / М. Горький — «Public Domain»,
1914 — (Автобиографическая трилогия)

Повесть «В людях» – вторая часть известной трилогии «Детство», «В людях», «Мои университеты» – увидела свет в 1915 году. В незабываемых картинах изобразил М. Горький годы скитаний, столкновение с миром мещан, хозяев жизни, поведал о своем стремлении к знанию, правде и справедливости, о многочисленных встречах с талантливыми русскими людьми, не нашедшими применения своим богатым силам в царской России. Горький показал становление характера нового положительного героя.

Содержание

Глава I	5
Глава II	16
Глава III	25
Глава IV	32
Глава V	49
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Максим Горький

В людях

Глава I

Я – в людях, служу «мальчиком» при магазине «модной обуви», на главной улице города. Мой хозяин – маленький, круглый человечек; у него бурое, стертное лицо, зеленые зубы, водянисто-грязные глаза. Он кажется мне слепым, и, желая убедиться в этом, я делаю гримасы.

– Не криви рожу, – тихонько, но строго говорит он.

Неприятно, что эти мутные глаза видят меня, и не верится, что они видят, – может быть, хозяин только догадывается, что я гримасничаю?

– Я сказал – не криви рожу, – еще тише внушает он, почти не шевеля толстыми губами.

– Не чеши рук, – ползет ко мне его сухой шепот. – Ты служишь в первоклассном магазине на главной улице города, это надо помнить! Мальчик должен стоять при двери, как статуя...

Я не знаю, что такое статуя, и не могу не чесать рук, – обе они до локтей покрыты красными пятнами и язвами, их нестерпимо разъедает чесоточный клещ.

– Ты чем занимался дома? – спрашивает хозяин, рассматривая мои руки.

Я рассказываю, он качает круглой головой, плотно оклеенной серыми волосами, и обидно говорит:

– Ветошничество – это хуже нищенства, хуже воровства.

Не без гордости я заявляю:

– Я ведь и воровал тоже.

Тогда, положив руки на конторку, точно кот лапы, он испуганно упирается пустыми глазами в лицо мне и шипит:

– Что-о? Как это воровал?

Я объясняю – как и что.

– Ну, это сочтем за пустяки. А если ты у меня украдешь ботинки али деньги, я тебя устрою в тюрьму до твоих совершенных лет...

Он сказал это спокойно, я испугался и еще больше невзлюбил его.

Кроме хозяина, в магазине торговал мой брат, Саша Яковов, и старший приказчик – ловкий, липкий и румяный человек. Саша носил рыженький сюртучок, манишку, галстук, брюки навыпуск, был горд и не замечал меня.

Когда дед привел меня к хозяину и просил Сашу помочь мне, поучить меня, – Саша важно нахмурился, предупреждая:

– Нужно, чтоб он меня слушался!

Положив руку на голову мою, дед согнул мне шею.

– Слушай его, он тебя старше и по годам и по должности...

А Саша, выкатив глаза, внушил мне:

– Помни, что дедушка сказал!

И с первого же дня начал усердно пользоваться своим старшинством.

– Каширин, не вытаращивай зенки, – советовал ему хозяин.

– Я – ничего-с, – отвечал Саша, наклоня голову, но хозяин не отставал:

– Не бычись, покупатели подумают, что ты козел...

Приказчик почтительно смеялся, хозяин уродливо растягивал губы, Саша, багрово налившись кровью, скрывался за прилавком.

Мне не нравились эти речи, я не понимал множества слов, иногда казалось, что эти люди говорят на чужом языке.

Когда входила покупательница, хозяин вынимал из кармана руку, касался усов и приклеивал на лицо свое сладостную улыбку; она, покрывая щеки его морщинами, не изменяла слепых глаз. Приказчик вытягивался, плотно приложив локти к бокам, а кисти их почтительно развешивал в воздухе, Саша пугливо мигал, стараясь спрятать выпученные глаза, я стоял у двери, незаметно почесывая руки, и следил за церемонией продажи.

Стоя перед покупательницей на коленях, приказчик примеряет башмак, удивительно растопырив пальцы. Руки у него трепещут, он дотрагивается до ноги женщины так осторожно, точно боится сломать ногу, а нога – толстая, похожа на бутылку с покатыми плечиками, горлышком вниз.

Однажды какая-то дама сказала, дрыгая ногой и поеживаясь:

– Ах, как вы щекочете...

– Это-с – из вежливости, – быстро и горячо объяснил приказчик.

Было смешно смотреть, как он липнет к покупательнице, и, чтобы не смеяться, я отворачивался к стеклу двери. Но неодолимо тянуло наблюдать за продажей, – уж очень забавляли меня приемы приказчика, и в то же время я думал, что никогда не сумею так вежливо растопыривать пальцы, так ловко насаживать башмаки на чужие ноги.

Часто, бывало, хозяин уходил из магазина в маленькую комнатку за прилавком и звал туда Сашу; приказчик оставался глаз на глаз с покупательницей. Раз, коснувшись ноги рыжей женщины, он сложил пальцы шепотью и поцеловал их.

– Ах, – вздохнула женщина, – какой вы шалунишка!

А он надул щеки и тяжело произнес:

– Мм-ух!

Тут я расхохотался до того, что, боясь свалиться с ног, повис на ручке двери, дверь отворилась, я угодил головой в стекло и вышиб его. Приказчик топал на меня ногами, хозяин стучал по голове моей тяжелым золотым перстнем, Саша пытался трепать мои уши, а вечером, когда мы шли домой, строго внушал мне:

– Прогонят тебя за эти штуки! Ну, что тут смешного?

И объяснил: если приказчик нравится дамам – торговля идет лучше.

– Даме и не нужно башмаков, а она придет да лишние купит, только бы поглядеть на приятного приказчика. А ты – не понимаешь! Возись с тобой...

Это меня обидело, – никто не возился со мной, а он тем более.

По утрам кухарка, женщина больная и сердитая, будила меня на час раньше, чем его; я чистил обувь и платье хозяев, приказчика, Саши, ставил самовар, приносил дров для всех печей, чистил судки для обеда. Придя в магазин, подметал пол, стирал пыль, готовил чай, разносил покупателям товар, ходил домой за обедом; мою должность у двери в это время исполнял Саша и, находя, что это унижает его достоинство, ругал меня:

– Увалень! Работай вот за тебя...

Мне было тягостно и скучно, я привык жить самостоятельно, с утра до ночи на песчаных улицах Кунавина, на берегу мутной Оки, в поле и в лесу. Не хватало бабушки, товарищей, не с кем было говорить, а жизнь раздражала, показывая мне свою неказистую, лживую изнанку.

Нередко случалось, что покупательница уходила, ничего не купив, – тогда они, трое, чувствовали себя обиженными. Хозяин прятал в карман свою сладкую улыбку, командовал:

– Каширин, прибири товар!

И ругался:

– Ишь нарыла, свинья! Скушно дома сидеть дуре, так она по магазинам шляется. Была бы моей женой – я б тебя...

Его жена, сухая, черноглазая, с большим носом, топала на него ногами и кричала, как на слугу.

Часто, проводив знакомую покупательницу вежливыми поклонами и любезными словами, они говорили о ней грязно и бесстыдно, вызывая у меня желание выбежать на улицу и, догнав женщину, рассказать, как говорят о ней.

Я, конечно, знал, что люди вообще плохо говорят друг о друге за глаза, но эти говорили обо всех особенно возмутительно, как будто они были кем-то признаны за самых лучших людей и назначены в судьи миру. Многим завидуя, они никогда никого не хвалили и о каждом человеке знали что-нибудь скверное.

Как-то раз в магазин пришла молодая женщина, с ярким румянцем на щеках и сверкающими глазами, она была одета в бархатную ротонду с воротником черного меха, – лицо ее возвышалось над мехом, как удивительный цветок. Сбросив с плеч ротонду на руки Саши, она стала еще красивее: стройная фигура была туго обтянута голубовато-серым шелком, в ушах сверкали брильянты, – она напомнила мне Василису Прекрасную, и я был уверен, что это сама губернаторша. Ее приняли особенно почтительно, изгибаясь перед нею, как перед огнем, захлебываясь любезными словами. Все трое метались по магазину, точно бесы; на стеклах шкапов скользили их отражения, казалось, что все кругом загорелось, тает и вот сейчас примет иной вид, иные формы.

А когда она, быстро выбрав дорогие ботинки, ушла, хозяин, причмокнув, сказал со свистом:

– С-сука...

– Одно слово – актриса, – с презрением молвил приказчик.

И они стали рассказывать друг другу о любовниках дамы, о ее кутежах.

После обеда хозяин лег спать в комнатке за магазином, а я, открыв золотые его часы, накапал в механизм уксуса. Мне было очень приятно видеть, как он, проснувшись, вышел в магазин с часами в руках и растерянно бормотал:

– Что за оказия? Вдруг часы вспотели! Никогда этого не бывало – вспотели! Уж не к худу ли?

Несмотря на обилие суеты в магазине и работы дома, я словно засыпал в тяжелой скуке, и все чаще думалось мне: что бы такое сделать, чтоб меня прогнали из магазина?

Снежные люди молча мелькают мимо двери магазина, – кажется, что они кого-то хоронят, провожают на кладбище, но опоздали к выносу и торопятся догнать гроб. Трясутся лошади, с трудом одолевая сугробы. На колокольне церкви за магазином каждый день уныло звонят – Великий пост; удары колокола бьют по голове, как подушкой: не больно, а глупеешь и глохнешь от этого.

Однажды, когда я разбирал на дворе, у двери в магазин, ящик только что полученного товара, ко мне подошел церковный сторож, кособокий старичок, мягкий, точно из тряпок сделан, и растрепанный, как будто его собаки рвали.

– Ты бы, человек божий, украл мне калошки, а? – предложил он.

Я промолчал. Присев на пустой ящик, он зевнул, перекрестил рот и – снова:

– Украдь, а?

– Воровать нельзя! – сообщил я ему.

– А воруют, однако. Уважь старость!

Он был приятно не похож на людей, среди которых я жил; я почувствовал, что он вполне уверен в моей готовности украсть, и согласился подать ему калоши в форточку окна.

– Вот и ладно, – не радуясь, спокойно сказал он. – Не омманешь? Ну, ну, уж я вижу, что не омманешь...

Посидел с минуту молча, растирая грязный, мокрый снег подошвой сапога, потом закурил глиняную трубку и вдруг испугал меня:

– А ежели я тебя омману? Возьму эти самые калоши, да к хозяину отнесу, да и скажу, что продал ты мне их за полтину? А? Цена им свыше двух целковых, а ты – за полтину! На гостинцы, а?

Я немотно смотрел на него, как будто он уже сделал то, что обещал, а он все говорил тихонько, гнусаво, глядя на свой сапог и попыхивая голубым дымом.

– Если окажется, напримерно, что это хозяин же и научил меня: иди испытай мне мальчика – насколько он вор? Как тогда будет?

– Не дам я тебе калоши, – сказал я сердито.

– Теперь уж нельзя не дать, коли обещал!

Он взял меня за руку, привлек к себе и, стучая холодным пальцем по лбу моему, лениво продолжал:

– Как же это ты ни с того ни с сего – на, возьми?!

– Ты сам просил.

– Мало ли чего я могу попросить! Я тебя попрошу церкву ограбить, как же ты – ограбишь? Разве можно человеку верить? Ах ты, дурачок...

И, оттолкнув меня, он встал.

– Калошев мне не надо краденых, я не барин, калошей не ношу. Это я пошутил только... А за простоту твою, когда Пасха придет, я те на колокольню пушу, звонить будешь, город поглядишь...

– Я знаю город.

– С колокольни он краше...

Зарывая носки сапог в снег, он медленно ушел за угол церкви, а я, глядя вслед ему, уныло, испуганно думал: действительно пошутил старичок или подослан был хозяином проверить меня? Идти в магазин было боязно.

На двор выскочил Саша и закричал:

– Какого черта ты возишься!

Я замахнулся на него клещами, вдруг взбесившись.

Я знал, что он и приказчик обкрадывают хозяина: они прятали пару ботинок или туфель в трубу печи, потом, уходя из магазина, скрывали их в рукавах пальто. Это не нравилось мне и пугало меня, – я помнил угрозу хозяина.

– Ты воруешь? – спросил я Сашу.

– Не я, а старший приказчик, – объяснил он мне строго, – я только помогаю ему. Он говорит – послужи! Я должен слушаться, а то он мне пакость устроит. Хозяин! Он сам вчерашний приказчик, он все понимает. А ты молчи!

Говоря, он смотрел в зеркало и поправлял галстук теми же движениями неестественно растопыренных пальцев, как это делал старший приказчик. Он неумоимо показывал мне свое старшинство и власть надо мною, кричал на меня басом, а приказывая мне, вытягивал руку вперед отталкивающим жестом. Я был выше его и сильнее, но костляв и неуклюж, а он – плотненький, мягкий и масляный. В сюртуке и брюках навывпуск он казался мне важным, солидным, но было в нем что-то неприятное, смешное. Он ненавидел кухарку, бабу странную, – нельзя было понять, добрая она или злая.

– Лучше всего на свете люблю я бои, – говорила она, широко открыв черные, горячие глаза. – Мне все едино, какой бой: петухи ли дерутся, собаки ли, мужики – мне это все едино!

И если на дворе дрались петухи или голуби, она, бросив работу, наблюдала за дракою до конца ее, глядя в окно, глухая, немая. По вечерам она говорила мне и Саше:

– Что вы, ребяташки, зря сидите, подрались бы лучше!

Саша сердится:

– Я тебе, дуре, не ребяташка, а второй приказчик!

– Ну этого я не вижу. Для меня, покуда не женат, ребенок!

- Дура, дурья голова...
- Бес умен, да его бог не любит.

Ее поговорки особенно раздражали Сашу, он дразнил ее, а она, презрительно скосив на него глаза, говорила:

- Эх ты, таракан, богова ошибка!

Не однажды он уговаривал меня намазать ей, сонной, лицо ваксой или сажей, натывать в ее подушку булавок или как-нибудь иначе «подшутить» над ней, но я боялся кухарки, да и спала она чутко, часто просыпаясь; проснется, зажжет лампу и сидит на кровати, глядя куда-то в угол. Иногда она приходила ко мне за печку и, разбудив меня, просила хрипло:

- Не спится мне, Лексейка, боязно чего-то, поговори-ка ты со мной.

Сквозь сон я что-то рассказывал ей, а она сидела молча и покачивалась. Мне казалось, что горячее тело ее пахнет воском и ладаном и что она скоро умрет. Может быть, даже сейчас вот ткнется лицом в пол и умрет. Со страха я начинал говорить громко, но она останавливала меня:

- Шш! А то сволочи проснутся, подумают про тебя, что ты любовник мой...

Сидела она около меня всегда в одной позе: согнувшись, сунув кисти рук между колен, сжимая их острыми костями ног. Грудей у нее не было, и даже сквозь толстую холстину рубахи проступали ребра, точно обручи на разошедшейся бочке. Сидит долго молча и вдруг прошепчет:

- Хоть умереть бы, что ли, такая все тоска...

Или спросит кого-то:

- Вот и дожила – ну?

– Спи! – говорила она, прерывая меня на полуслове, разгибалась и, серая, таяла бесшумно в темноте кухни.

- Ведьма! – звал ее Саша за глаза.

Я предложил ему:

- А ты в глаза скажи ей это!
- Думаешь, побоюсь?

Но тотчас же сморщился, говоря:

- Нет, в глаза не скажу! Может, она вправду ведьма...

Относясь ко всем пренебрежительно и сердито, она и мне ни в чем не мирволила, – дернет меня за ногу в шесть часов утра и кричит:

- Буде дрыхнуть-то! Тащи дров! Ставь самовар! Чисти картошку!..

Просыпался Саша и ныл:

- Что ты орешь? Я хозяину скажу, спать нельзя...

Быстро передвигая по кухне свои сухие кости, она сверкала в его сторону воспаленными бессонницей глазами:

- У, богова ошибка! Был бы ты мне пасынок, я бы тебя ощипала.

– Проклятая, – ругался Саша и по дороге в магазин внушал мне: – Надо сделать, чтоб ее прогнали. Надо, незаметно, соли во все подбавлять, – если у нее все будет пересолено, прогонят ее. А то керосину! Ты чего зеваешь?

- А ты?

Он сердито фыркнул:

- Трус!

Кухарка умерла на наших глазах: наклонилась, чтобы поднять самовар, и вдруг осела на пол, точно кто-то толкнул ее в грудь, потом молча свалилась на бок, вытягивая руки вперед, а изо рта у нее потекла кровь.

Мы оба тотчас поняли, что она умерла, но, стиснутые испугом, долго смотрели на нее, не в силах слова сказать. Наконец Саша стремглав бросился вон из кухни, а я, не зная, что

делать, прижался у окна, на свету. Пришел хозяин, озабоченно присел на корточки, пощупал лицо кухарки пальцем, сказал:

– Действительно умерла... Что такое?

И стал креститься в угол, на маленький образок Николы Чудотворца, а помолвившись, скомандовал в сени:

– Каширин, беги, объяви полиции!

Пришел полицейский, потоптался, получил на чай, ушел; потом снова явился, а с ним – ломовой извозчик; они взяли кухарку за ноги, за голову и унесли ее на улицу. Заглянула из сеней хозяйка, приказала мне:

– Вымой пол!

А хозяин сказал:

– Хорошо, что она вечером померла...

Я не понял, почему это хорошо. Когда ложились спать, Саша сказал мне необычно кротко:

– Не гаси лампу!

– Боишься?

Он закутал голову одеялом и долго лежал молча. Ночь была тихая, словно прислушивалась к чему-то, чего-то ждала, а мне казалось, что вот в следующую секунду ударят в колокол и вдруг все в городе забегают, закричат в великом смятении страха.

Саша высунул нос из-под одеяла и предложил тихонько:

– Давай ляжем на печи, рядом?

– Жарко на печи.

Помолчав, он сказал:

– Как она – сразу, а? Вот тебе и ведьма... Не могу уснуть...

– И я не могу.

Он стал рассказывать о покойниках, как они, выходя из могил, бродят до полуночи по городу, ищут, где жили, где у них остались родные.

– Покойники помнят только город, – тихонько говорил он, – а улицы и дома не помнят уж...

Становилось все тише, как будто темнее. Саша приподнял голову и спросил:

– Хочешь, посмотрим мой сундук?

Мне давно хотелось узнать, что он прячет в сундуке. Он запирает его всяким замком, а открывал всегда с какими-то особенными предосторожностями и, если я пытался заглянуть в сундук, грубо спрашивал:

– Чего тебе надо? Ну?

Когда я согласился, он сел на постели, не спуская ног на пол, и уже тоном приказания велел мне поставить сундук на постель, к его ногам. Ключ висел у него на гайтане, вместе с нательным крестом. Оглянув темные углы кухни, он важно нахмурился, отпер замок, подул на крышку сундука, точно она была горячая, и, наконец приподняв ее, вынул несколько пар белья.

Сундук был до половины наполнен аптечными коробками, свертками разноцветной чайной бумаги, жестянками из-под ваксы и сардин.

– Это что?

– А вот увидишь...

Он обнял сундук ногами и склонился над ним, напевая тихонько:

– Царю небесный...

Я ожидал увидеть игрушки: я никогда не имел игрушек и относился к ним с наружным презрением, но не без зависти к тому, у кого они были. Мне очень понравилось, что у Саши, такого солидного, есть игрушки; хотя он и скрывает их стыдливо, но мне понятен был этот стыд.

Открыв первую коробку, он вынул из нее оправу от очков, надел ее на нос и, строго глядя на меня, сказал:

– Это ничего не значит, что стекол нет, это уж такие очки!

– Дай мне посмотреть!

– Тебе они не по глазам. Это для темных глаз, а у тебя какие-то светлые, – объяснил он и по-хозяйски крикнул, но тотчас же испуганно осмотрел всю кухню.

В коробке из-под ваксы лежало много разнообразных пуговиц, – он объяснил мне с гордостью:

– Это я всё на улице собрал! Сам. Тридцать семь уж...

В третьей коробке оказались большие медные булавки, тоже собранные на улице, потом – сапожные подковки, стертые, сломанные и цельные, пряжки от башмаков и туфель, медная дверная ручка, сломанный костяной набалдашник трости, девичья головная гребенка, «Сонник и оракул» и еще множество вещей такой же ценности.

В моих поисках тряпок и костей я легко мог бы собрать таких пустяковых штучек за один месяц в десять раз больше. Сашины вещи вызвали у меня чувство разочарования, смущения и томительной жалости к нему. А он разглядывал каждую штучку внимательно, любовно гладил ее пальцами, его толстые губы важно оттопырились, выпуклые глаза смотрели умиленно и озабоченно, но очки делали его детское лицо смешным.

– Зачем это тебе?

Он мельком взглянул на меня сквозь оправу очков и спросил ломким дискантом:

– Хочешь, подарю что-нибудь?

– Нет, не надо...

Видимо, обиженный отказом и недостатком внимания к богатству его, он помолчал минуту, потом тихонько предложил:

– Возьми полотенце, перетрем все, а то запылилось...

Когда вещи были перетерты и уложены, он кувырнулся в постель, лицом к стене. Дождь пошел, капало с крыши, в окна торкался ветер.

Не оборачиваясь ко мне, Саша сказал:

– погоди, когда в саду станет суше, я тебе покажу такую штуку – ахнешь!

Я промолчал, укладываясь спать.

Прошло еще несколько секунд, он вдруг вскочил и, царапая руками стену, с потрясающей убедительностью заговорил:

– Я боюсь... Господи, я боюсь! Господи помилуй! Что же это?

Тут и я испугался до онемения: мне показалось, что у окна во двор, спиной ко мне, стоит кухарка, наклонив голову, упираясь лбом в стекло, как стояла она живая, глядя на петушинный бой.

Саша рыдал, царапая стену, дрыгая ногами. Я с трудом, точно по горячим угольям, не оглядываясь, перешел кухню и лег рядом с ним.

Наревевшись до утомления, мы заснули.

Через несколько дней после этого был какой-то праздник, торговали до полудня, обедали дома, и, когда хозяева после обеда легли спать, Саша таинственно сказал мне:

– Идем!

Я догадался, что сейчас увижу штуку, которая заставит меня ахнуть.

Вышли в сад. На узкой полосе земли, между двух домов, стояло десятка полтора старых лип, могучие стволы были покрыты зеленой ватой лишаяев, черные голые сучья торчали мертво. И ни одного вороньего гнезда среди них. Деревья – точно памятники на кладбище. Кроме этих лип, в саду ничего не было, ни куста, ни травы; земля на дорожках плотно утоптана и черна, точно чугунная; там, где из-под жухлой прошлогодней листвы видны ее лысины, она тоже подернута плесенью, как стоячая вода ряской.

Саша прошел за угол, к забору, с улицы, остановился под липой и, выкатив глаза, поглядел в мутные окна соседнего дома. Присел на корточки, разгреб руками кучу листьев, – обнаружил толстый корень и около него два кирпича, глубоко вдавленные в землю. Он приподнял их – под ними оказался кусок кровельного железа, под железом – квадратная дощечка, наконец предо мною открылась большая дыра, уходя под корень.

Саша зажег спичку, потом огарок восковой свечи, сунул его в эту дырку и сказал мне:

– Гляди! Не бойся только...

Сам он, видимо, боялся: огарок в руке его дрожал, он побледнел, неприятно распустил губы, глаза его стали влажны, он тихонько отводил свободную руку за спину. Страх его передался мне, я очень осторожно заглянул в углубление под корнем, – корень служил пещере сводом, – в глубине ее Саша зажег три огонька, они наполнили пещеру синим светом. Она была довольно обширна, глубиной как внутренность ведра, но шире, бока ее были сплошь выложены кусками разноцветных стекол и черенков чайной посуды. Посредине, на возвышении, покрытом куском кумача, стоял маленький гроб, оклеенный свинцовой бумагой, до половины прикрытый лоскутом чего-то похожего на парчовый покров, из-под покрова высывались серенькие птичьи лапки и остроносая головка воробья. За гробом возвышался аналой, на нем лежал медный нательный крест, а вокруг аналая горели три восковые огарка, укрепленные в подсвечниках, обвитых серебряной и золотой бумагой от конфет.

Острия огней наклонялись к отверстию пещеры; внутри ее тускло блестели разноцветные искры, пятна. Запах воска, теплой гнили и земли бил мне в лицо, в глазах переливалась, прыгала раздробленная радуга. Все это вызвало у меня тягостное удивление и подавило мой страх.

– Хорошо? – спросил Саша.

– Это зачем?

– Часовня, – объяснил он. – Похоже?

– Не знаю.

– А воробей – покойник! Может, мощи будут из него, потому что он – невинно пострадавший мученик...

– Ты его мертвым нашел?

– Нет, он залетел в сарай, а я накрыл его шапкой и задушил.

– Зачем?

– Так...

Он заглянул мне в глаза и снова спросил:

– Хорошо?

– Нет!

Тогда он наклонился к пещере, быстро прикрыл ее доской, железом, втиснул в землю кирпичи, встал на ноги и, очищая с колен грязь, строго спросил:

– Почему не нравится?

– Воробья жалко.

Он посмотрел на меня неподвижными глазами, точно слепой, и толкнул в грудь, крикнув:

– Дурак! Это ты от зависти говоришь, что не нравится! Думаешь, у тебя в саду, на Канатной улице, лучше было сделано?

Я вспомнил свою беседку и уверенно ответил:

– Конечно, лучше!

Саша сбросил с плеч на землю свой сюртучок и, засучивая рукава, поплевав на ладони, предложил:

– Когда так, давай драться!

Драться мне не хотелось, я был подавлен ослабляющей скукой, мне неловко было смотреть на озлобленное лицо брата.

Он наскочил на меня, ударил головой в грудь, опрокинул, уселся верхом на меня и закричал:

– Жизни али смерти?

Но я был сильнее его и очень рассердился; через минуту он лежал вниз лицом, протянув руки за голову, и хрипел. Испугавшись, я стал поднимать его, но он отбивался руками и ногами, все более пугая меня. Я отошел в сторону, не зная, что делать, а он, приподняв голову, говорил:

– Что, взял? Вот буду так валяться, куда хозяева не увидят, а тогда пожалуюсь на тебя, тебя и прогонят!

Он ругался, угрожал; его слова рассердили меня, я бросился к пещере, вынул камни, гроб с воробьем переброшил через забор на улицу, изрыл все внутри пещеры и затоптал ее ногами.

– Вот тебе, видел?

Саша отнесся к моему буйству странно: сидя на земле, он, приоткрыв немножко рот и сдвинув брови, следил за мною, ничего не говоря, а когда я кончил, он, не торопясь, встал, отряхнулся и, набросив сюртучок на плечи, спокойно и зловеще сказал:

– Теперь увидишь, что будет, погоди немножко! Это ведь я все нарочно сделал для тебя, это – колдовство! Ага?..

Я так и присел, точно ушибленный его словами, все внутри у меня облилось холодом. А он ушел, не оглянувшись, еще более подавив спокойствием своим.

Я решил завтра же убежать из города, от хозяина, от Саши с его колдовством, от всей этой нудной, дурацкой жизни.

На другой день утром новая кухарка, разбудив меня, закричала:

– Батюшки! Что у тебя с рожей-то?..

«Началось колдовство!» – подумал я угнетенно.

Но кухарка так заливчато хохотала, что я тоже улыбнулся невольно и взглянул в ее зеркало: лицо у меня было густо вымазано сажей.

– Это – Саша?

– А то я! – смешливо кричала кухарка.

Я начал чистить обувь, сунул руку в башмак, – в палец мне впиалась булавка.

«Вот оно – колдовство!»

Во всех сапогах оказались булавки и иголки, пристроенные так ловко, что они впивались мне в ладонь. Тогда я взял ковш холодной воды и с великим удовольствием вылил ее на голову еще не проснувшегося или притворно спавшего колдуна.

Но все-таки я чувствовал себя плохо: мне все мерещился гроб с воробьем, серые, скрюченные лапки и жалобно торчавший вверх восковой его нос, а вокруг – неустанное мелькание разноцветных искр, как будто хочет вспыхнуть радуга – и не может. Гроб расширялся, когти птицы росли, тянулись вверх и дрожали, оживая.

Бежать я решил вечером этого дня, но перед обедом, разогревая на керосинке судок со щами, я, задумавшись, вскипятил их, а когда стал гасить огонь, опрокинул судок себе на руки, и меня отправили в больницу.

Помню тягостный кошмар больницы: в желтой, зыбкой пустоте слепо копошились, урчали и стонали серые и белые фигуры в саванах, ходил на костылях длинный человек с бровями, точно усы, тряс большой черной бородой и рычал, присвистывая:

– Преосвященному донесу!

Койки напоминали гробы, больные, лежа кверху носами, были похожи на мертвых воробьев. Качались желтые стены, парусом выгибался потолок, пол зыбился, сдвигая и раздвигая ряды коек, все было ненадежно, жутко, а за окнами торчали сучья деревьев, точно розги, и кто-то тряс ими.

В двери приплясывал рыжий, тоненький покойник, дергал коротенькими руками саван свой и визжал:

– Мне не надо сумасшедших!

А человек на костылях орал в голову ему:

– Пре-освящен-ному-с...

Дед, бабушка да и все люди всегда говорили, что в больнице морят людей, – я считал свою жизнь поконченной. Подошла ко мне женщина в очках и тоже в саване, написала что-то на черной доске в моем изголовье, – мел сломался, крошки его посыпались на голову мне.

– Тебя как зовут? – спросила она.

– Никак.

– У тебя же есть имя?

– Нет.

– Ну, не дури, а то высекут!

Я и до нее был уверен, что высекут, а потому не стал отвечать ей. Она фыркнула, точно кошка, и кошкой, бесшумно, ушла.

Зажгли две лампы, их желтые огни повисли под потолком, точно чьи-то потерянные глаза, висят и мигают, досадно ослепляя, стремясь сблизиться друг с другом.

В углу кто-то сказал:

– Давай в карты играть?

– Как же я без руки-то?

– Ага, отрезали тебе руку!

Я тотчас сообразил: вот – руку отрезали за то, что человек играл в карты. А что сделают со мной перед тем, как уморить меня?

Руки мне жгло и рвало, словно кто-то вытаскивал кости из них. Я тихонько заплакал от страха и боли, а чтобы не видно было слез, закрыл глаза, но слезы приподнимали веки и текли по вискам, попадая в уши.

Пришла ночь, все люди повалились на койки, спрятавшись под серые одеяла, с каждой минутой становилось все тише, только в углу кто-то бормотал:

– Ничего не выйдет, и он – дрянь, и она – дрянь...

Написать бы письмо бабушке, чтобы она пришла и выкрала меня из больницы, пока я еще жив, но писать нельзя: руки не действуют и не на чем. Попробовать – не удастся ли улизнуть отсюда?

Ночь становилась все мертвее, точно утверждаясь навсегда. Тихонько спустив ноги на пол, я подошел к двери, половинка ее была открыта, – в коридоре, под лампой, на деревянной скамье со спинкой, торчала и дымилась седая ежовая голова, глядя на меня темными впадинами глаз. Я не успел спрятаться.

– Кто бродит? Подь сюда!

Голос не страшный, тихий. Я подошел, посмотрел на круглое лицо, утыканное короткими волосами, – на голове они были длиннее и торчали во все стороны, окружая ее серебряными лучиками, а на поясе человека висела связка ключей. Будь у него борода и волосы длиннее, он был бы похож на апостола Петра.

– Это – варены руки? Ты чего же шлендаешь ночью? По какому закону?

Он выдул в грудь и лицо мне много дыма, обнял меня теплой рукой за шею и привлек к себе.

– Боишься?

– Боюсь!

– Здесь все боятся вначале. А бояться нечего. Особенно со мной – я никого в обиду не дам... Курить желаешь? Ну, не кури. Это тебе рано, погоди года два... А отец-мать где? Нету отца-матери! Ну, и не надо – без них проживем, только не трусь! Понял?

Я давно уже не видал людей, которые умеют говорить просто и дружески, понятными словами, – мне было невыразимо приятно слушать его.

Когда он отвел меня к моей койке, я попросил:

– Посиди со мной!

– Можно, – согласился он.

– Ты – кто?

– Я? Солдат, самый настоящий солдат, кавказский. И на войне был, а – как же иначе?

Солдат для войны живет. Я с венграми воевал, с черкесом, поляком – сколько угодно! Война, брат, бо-ольшое озорство!

Я на минуту закрыл глаза, а когда открыл их, на месте солдата сидела бабушка в темном платье, а он стоял около нее и говорил:

– Поди-ка померли все, а?

В палате играло солнце, – позолотит в ней все и спрячется, а потом снова ярко взглянет на всех, точно ребенок шалит.

Бабушка наклонилась ко мне, спрашивая:

– Что, голубок? Изувечили? Говорила я ему, рыжему бесу...

– Сейчас я все сделаю по закону, – сказал солдат, уходя, а бабушка, стирая слезы с лица, говорила:

– Наш солдат, балахонский, оказался...

Я все еще думал, что сон вижу, и молчал. Пришел доктор, перевязал мне ожоги, и вот я с бабушкой еду на извозчике по улицам города. Она рассказывает:

– А дед у нас – вовсе с ума сходит, так жаден стал – глядеть тошно! Да еще у него недавно сторублевою из псалтиря скорняк Хлыст вытащил, новый приятель его. Что было – и-и!

Ярко светит солнце, белыми птицами плывут в небе облака, мы идем по мосткам через Волгу, гудит, вздувается лед, хлюпает вода под тесинами мостков, на мясисто-красном соборе ярмарки горят золотые кресты. Встретилась ширококорожая баба с охапкой атласных веток вербы в руках – весна идет, скоро Пасха!

Сердце затрепетало жаворонком.

– Люблю я тебя очень, бабушка!

Это ее не удивило, спокойным голосом она сказала мне:

– Родной потому что, а меня, не хвастаясь скажу, и чужие любят, слава тебе, Богородица!

Улыбаясь, она добавила:

– Вот – обрадуется она скоро, сын воскреснет! А Варюша, дочь моя...

И – замолчала...

Глава II

Дед встретил меня на дворе, – тесал топором какой-то клин, стоя на коленях. Приподнял топор, точно собираясь швырнуть его в голову мне, и, сняв шапку, насмешливо сказал:

– Здравствуйте, преподобное лицо, ваше благородие! Отслужили? Ну, уж теперь как хотите живите, да! Эх вы-и...

– Знаем, знаем, – торопливо проговорила бабушка, отмахиваясь от него, а войдя в комнату и ставя самовар, рассказывала:

– Теперь – начисто разорился дедушка-то; какие деньги были, все отдавал крестнику Николаю в рост, а расписок, видно, не брал с него, – уж не знаю, как это у них стало, только – разорился, пропали деньги. А все за то, что бедным не помогали мы, несчастных не жалели, господь-то и подумал про нас: для чего же я Кашириных добром одел? Подумал да и лишил всего...

Оглянувшись, она сообщила:

– Уж я все стараюсь господу задобрить немножко, чтобы не больно он старика-то пригнетал, – стала теперь от трудов своих тихую милостыню подавать по ночам. Вот, хошь, пойдём сегодня – у меня деньги есть...

Пришел дед, сощурился и спросил:

– Жрать нацелились?

– Не твое, – сказала бабушка. – А коли хочешь, садись с нами, и на тебя хватит.

Он сел к столу, молвил тихонько:

– Налей...

Все в комнате было на своем месте, только угол матери печально пустовал, да на стене, над постелью деда, висел лист бумаги с крупной надписью печатными буквами:

«Исусе Спасе едино живый! Да пребудет святое имя твое со мною по вся дни часы живота моего».

– Это кто писал?

Дед не ответил, бабушка, подождав, сказала с улыбкой:

– Этой бумаге сто рублей цена!

– Не твое дело! – крикнул дед. – Все чужим людям раздам!

– Раздать-то нечего, а когда было – не раздавал, – спокойно сказала бабушка.

– Молчать! – взвизгнул дед.

Здесь все в порядке, все по-старому.

В углу на сундуке, в бельевой корзинке, проснулся Коля и смотрел оттуда; синие полоски глаз едва видны из-под век. Он стал еще более серым, вялым, тающим; он не узнал меня, отвернулся молча и закрыл глаза.

На улице меня ждали печальные вести: Вяхирь – помер, его на Страстной неделе «ветряк задушил»; Хаби – ушел жить в город, у Язя отнялись ноги, он не гулял. Сообщив мне все это, черноглазый Кострома сердито сказал:

– Уж очень скоро мрут мальчишки!

– Да ведь помер только Вяхирь?

– Все равно: кто ушел с улицы, тоже будто помер. Только подружисься, привыкнешь, а товарища либо в работу отдадут, либо умрет. Тут на вашем дворе, у Чеснокова, новые живут – Евсеенки; парнишка – Нюшка, ничего, ловкий! Две сестры у него; одна еще маленькая, а другая хромая, с костылем ходит, красивая.

Подумав, он добавил:

– Мы, брат, с Чуркой влюбились в нее, все ссоримся!

– С ней?

– Зачем? Промежду себя. С ней – редко!

Я, конечно, знал, что большие парни и даже мужики влюбляются, знал и грубый смысл этого. Мне стало неприятно, жалко Кострому, неловко смотреть на его угловатое тело, в черные сердитые глаза.

Хромую девушку я увидел вечером, в тот же день. Сходя с крыльца на двор, она уронила костыль и беспомощно остановилась на ступенях, вцепившись в струну перил прозрачными руками, тонкая, слабенькая. Я хотел поднять костыль, но забинтованные руки действовали плохо, я долго возился и досадовал, а она, стоя выше меня, тихонько смеялась:

– Что это с руками у тебя?

– Сварил.

– А вот я – хромаю. Ты с этого двора? Долго в больнице лежал? А я лежала там до-олго!

Вздыхнув, она прибавила:

– Очень долго!

На ней было белое платье с голубыми подковками, старенькое, но чистое, гладко причесанные волосы лежали на груди толстой, короткой косой. Глаза у нее – большие, серьезные, в их спокойной глубине горел голубой огонек, освещая худенькое, остроносое лицо. Она приятно улыбалась, но – не понравилась мне. Вся ее болезненная фигура как будто говорила:

«Не трогайте меня, пожалуйста!»

Как могли товарищи влюбиться в нее?

– Я – давно хвораю, – рассказывала она охотно и словно хвастаясь. – Меня соседка заколдовала, поругалась с мамой и заколдовала меня, назло ей... В больнице страшно?

– Да...

С нею было неловко, я ушел в комнату.

Около полуночи бабушка ласково разбудила меня.

– Пойдем, что ли? Потрудишься людям – руки-то скорее заживут...

Взяла меня за руку и повела во тьме, как слепого. Ночь была черная, сырая, непрерывно дул ветер, точно река быстро текла, холодный песок хватал за ноги. Бабушка осторожно подходила к темным окнам мещанских домишек, перекрестясь трижды, оставляла на подоконниках по пятаку и по три кренделя, снова крестилась, глядя в небо без звезд, и шептала:

– Пресвятая царица небесная, помоги людям! Все – грешники пред тобою, матушка!

Чем дальше уходили мы от дома, тем глуше и мертвее становилось вокруг. Ночное небо, бездонно углубленное тьмой, словно навсегда спрятало месяц и звезды. Выкатилась откуда-то собака, остановилась против нас и зарычала, во тьме блестят ее глаза; я трусливо прижался к бабушке.

– Ничего, – сказала она, – это просто собака, бесу – не время, ему поздно, петухи-то ведь уже пропели:

Подманила собаку, погладила ее и советует:

– Ты смотри, собачонка, не пугай мово внучонка!

Собака потерлась о мои ноги, и дальше пошли втроем. Двенадцать раз подходила бабушка под окна, оставляя на подоконниках «тихую милостыню»; начало светать, из тьмы вырастали серые дома, поднималась белая, как сахар, колокольня Напольной церкви; кирпичная ограда кладбища поредела, точно худая рогожа.

– Устала старуха, – говорила бабушка, – домой пора! Проснутся завтра бабы, а ребятишкам-то их припасла Богородица немножко! Когда всего не хватает, так и немножко – годится! Охо-хо, Олеша, бедно живет народ, и никому нет о нем заботы!

Богатому о господе не думается,
О Страшном суде не мерещится,
Бедный-то ему ни друг, ни брат,

Ему бы все только золото собирать
А быть тому злату в аду угольями! —

Вот оно как! Жить надо – друг о дружке, а бог – обо всех! А рада я, что ты опять со мной...

Я тоже спокойно рад, смутно чувствуя, что приобщился чему-то, о чем не забуду никогда. Около меня тряслась рыжая собака с лисьей мордой и добрыми виноватыми глазами.

– Она будет с нами жить?

– А что ж? Пускай живет, коли хочет. Вот я ей крендель дам, у меня два осталось. Давай сядем на лавочку, что-то я устала...

Сели у ворот на лавку, собака легла к ногам нашим, разгрызая сухой крендель, а бабушка рассказывала:

– Тут одна еврейка живет, так у ней – девять человек, мал мала меньше. Спрашиваю я ее: «Как же ты живешь, Мосевна?» А она говорит: «Живу с богом со своим – с кем иначе жить?»

Я прислонился к теплому боку бабушки и заснул.

Жизнь снова потекла быстро и густо, широкий поток впечатлений каждый день приносил душе что-то новое, что восхищало и тревожило, обижало, заставляло думать.

Вскоре я тоже всеми силами стремился как можно чаще видеть хромую девочку, говорить с нею или молча сидеть рядом, на лавочке у ворот, – с нею и молчать было приятно. Была она чистенькая, точно птица пеночка, и прекрасно рассказывала о том, как живут казаки на Дону; там она долго жила у дяди, машиниста маслобойни, потом отец ее, слесарь, переехал в Нижний.

– А еще дядя, второй, так тот служит при самом царе.

Вечерами, по праздникам, все население улицы выходило «за ворота», парни и девушки отправлялись на кладбище водить хороводы, мужики расходились по трактирам, на улице оставались бабы и ребятишки. Бабы рассаживались у ворот прямо на песке или на лавочках и поднимали громкий галдеж, ссорясь и судача; ребятишки начинали играть в лапту, в городки, в «шар-мазю», – матери следили за играми, поощряя легких, осмеивая плохих игроков. Было оглушительно шумно и незабвенно весело; присутствие и внимание «больших», возбуждая нас, мелочь, вносило во все игры особенное оживление, страстное соперничество. Но как бы сильно ни увлекались игрою мы трое – Кострома, Чурка и я, – все-таки нет-нет да тот или другой бежит похвастаться перед хроменькой девушкой.

– Видела, Людмила, как я все пять чушек из города вышиб?

Она ласково улыбалась, кивая головой несколько раз кряду.

Раньше наша компания старалась держаться во всех играх вместе, а теперь я видел, что Чурка и Кострома играют всегда в разных партиях, всячески соперничая друг с другом в ловкости и силе, часто – до слез и драки. Однажды они подрались так бешено, что должны были вмешаться большие и врагов разливали водою, как собак.

Людмила, сидя на лавочке, топала о землю здоровой ногой, а когда бойцы подкатывались к ней, отталкивала их костылем, боязливо вскрикивая:

– Перестаньте!

Лицо у нее было досиня бледное, глаза погасли и закатились, точно у кликуши.

Другой раз Кострома, позорно проиграв Чурке партию в городки, спрятавшись за ларь с овсом у бакалейной лавки, сел там на корточки и молча заплакал, – это было почти страшно: он крепко стиснул зубы, скулы его высунулись, костлявое лицо окаменело, а из черных, угрюмых глаз выкатываются тяжелые, крупные слезы. Когда я стал утешать его, он прошептал, захлебываясь слезами:

– Погоди... я его кирпичом по башке... увидит!

Чурка стал заносчив, ходил посредине улицы, как ходят парни-женихи, заломив картуз набекрень, засунув руки в карманы; он выучился ухарски сплевывать сквозь зубы и обещал:

– Скоро курить выучусь. Уж я два раза пробовал, да тошнит.

Все это не нравилось мне. Я видел, что теряю товарища, и мне казалось, что виною этому Людмила.

Как-то раз вечером, когда я разбирал на дворе собранные кости, тряпки и всякий хлам, ко мне подошла Людмила, покачиваясь, размахивая правой рукой.

– Здравствуй, – сказала она, трижды кивнув головою. – Кострома с тобой ходил?

– Да.

– А Чурка?

– Чурка с нами не дружится. Это все ты виновата, влюбились они в тебя и – дерутся...

Она покраснела, но ответила насмешливо:

– Вот еще! Чем же я виновата?

– А зачем влюбляешь?

– Я их не просила влюбляться! – сказала она сердито и пошла прочь, говоря: – Глупости все это! Я старше их, мне четырнадцать лет. В старших девочек не влюбляются...

– Много ты знаешь! – желая обидеть ее, крикнул я. – Вон лавочница, Хлыстова сестра, совсем старая, а как путается с парнями-то!

Людмила воротилась ко мне, глубоко всаживая свой костыль в песок двора.

– Ты сам ничего не знаешь, – заговорила она торопливо, со слезами в голосе, и милые глаза ее красиво разгорелись. – Лавочница – распутная, а я – такая, что ли? Я еще маленькая, меня нельзя трогать и щипать, и все... ты бы вот прочитал роман «Камчадалка», часть вторая, да и говорил бы!

Она ушла, всхлипывая. Мне стало жаль ее – в словах ее звучала какая-то неведомая мне правда. Зачем щиплют ее товарищи мои? А еще говорят – влюблены...

На другой день, желая загладить вину свою перед Людмилой, я купил на семишник леденцов «ячменного сахара», любимого ею, как я уже знал.

– Хочешь?

Она насильно сердито сказала:

– Уйди, я с тобой не дружусь!

Но тотчас взяла леденцы, заметив мне:

– Хоть бы в бумажку завернул, – руки-то грязные какие.

– Я мыл, да уж не отмываются.

Она взяла мою руку своей, сухой и горячей, посмотрела.

– Как испортил...

– А у тебя пальцы истыканы...

– Это – иголкой, я шью много...

Через несколько минут она предложила мне, оглядываясь:

– Слушай, давай спрячемся куда-нибудь и станем читать «Камчадалку» – хочешь?

Долго искали, куда спрятаться, везде было неудобно. Наконец решили, что лучше всего забраться в предбанник: там – темно, но можно сесть у окна – оно выходит в грязный угол между сараем и соседней бойней, люди редко заглядывают туда.

И вот она сидит, боком к окну, вытянув больную ногу по скамье, опустив здоровую на пол, сидит и, закрыв лицо растрепанной книжкой, взволнованно произносит множество непонятных и скучных слов. Но я – волнуясь. Сидя на полу, я вижу, как серьезные глаза двумя голубыми огоньками двигаются по страницам книжки, иногда их овлажняет слеза, голос девочки дрожит, торопливо произносятся незнакомые слова в непонятных соединениях. Однако я хватаю эти слова и, стараясь уложить их в стихи, перевертываю всячески, – это уж окончательно мешает мне понять, о чем рассказывает книга.

На коленях у меня дремлет собака, я зову ее – Ветер, потому что она мохнатая, длинная, быстро бегаёт и ворчит, как осенний ветер в трубе.

– Ты слушаешь? – спрашивает девочка.

Я молча киваю головой. Сумятица слов все более возбуждает меня, все беспокойнее мое желание расставить их иначе, как они стоят в песнях, где каждое слово живет и горит звездой в небе.

Когда стало темно, Людмила, опустив побелевшую руку с книгой, спросила:

– Хорошо ведь? Вот видишь...

С этого вечера мы часто сживали в предбаннике. Людмила, к моему удовольствию, скоро отказалась читать «Камчадалку». Я не мог ответить ей, о чем идет речь в этой бесконечной книге, – бесконечной потому, что за второй частью, с которой мы начали чтение, явилась третья; и девочка говорила мне, что есть четвертая.

Особенно хорошо было нам в ненастные дни, если ненастье не падало на субботу, когда топили баню.

На дворе льет дождь, – никто не выйдет на двор, не заглянет к нам, в темный наш угол. Людмила очень боялась, что нас «застанут».

– Знаешь, что тогда подумают? – тихонько спрашивала она.

Я знал и тоже опасался, как бы не «застали». Мы просиживали целые часы, разговаривая о чем-то, иногда я рассказывал бабушкины сказки, Людмила же – о жизни казаков на реке Медведице.

– Ой, как там хорошо! – вздыхала она. – Здесь – что? Здесь только нищим жить...

Я решил, что, когда вырасту, непременно схожу посмотреть реку Медведицу.

Скоро мы перестали нуждаться в предбаннике: мать Людмилы нашла работу у скорняка и с утра уходила из дому, сестренка училась в школе, брат работал на заводе изразцов. В ненастные дни я приходил к девочке, помогая ей стряпать, убирать комнату и кухню, она смеялась:

– Мы с тобой живем, как муж с женой, только спим порознь. Мы даже лучше живем – мужья женам не помогают...

Если у меня были деньги, я покупал сластей, мы пили чай, потом охлаждали самовар холодной водой, чтобы крикливая мать Людмилы не догадалась, что его грели. Иногда к нам приходила бабушка, сидела, плетя кружева или вышивая, рассказывала чудесные сказки, а когда дед уходил в город, Людмила пробиралась к нам, и мы пировали беззаботно.

Бабушка говорила:

– Ой, хорошо мы живем! Свой грош – строй что хошь!

Она поощряла нашу дружбу.

– Мальчику с девочкой дружить – это хорошее дело! Только баловать не надо...

И простейшими словами объясняла нам, что значит «баловать». Говорила она красиво, одухотворенно, и я хорошо понял, что не следует трогать цветы, пока они не распустились, а то не быть от них ни запаху, ни ягод.

«Баловать» не хотелось, но это не мешало мне и Людмиле говорить о том, о чем принято молчать. Говорили, конечно, по необходимости, ибо отношения полов в их грубой форме слишком часто и назойливо лезли в глаза, слишком обижали нас.

Отец Людмилы, красивый мужчина лет сорока, был кудряв, усат и как-то особенно победно шевелил густыми бровями. Он был странно молчалив, – я не помню ни одного слова, сказанного им. Лаская детей, он мычал, как немой, и даже жену бил молча.

Вечерами, по праздникам, одев голубую рубаху, плисовые шаровары и ярко начищенные сапоги, он выходил к воротам с большой гармоникой, закинутой на ремне за спину, и становился точно солдат в позиции «на караул». Тотчас же мимо наших ворот начиналось «гулянье»: уточками шли одна за другой девицы и бабы, поглядывая на Евсеенку прикрито, из-под ресниц, и открыто, жадными глазами, а он стоит, оттопырив нижнюю губу, и тоже смотрит

на всех выбирающим взглядом темных глаз. Было что-то неприятно-собачье в этой безмолвной беседе глазами, в медленном, обреченном движении женщин мимо мужчины, – казалось, что любая из них, если только мужчина повелительно мигнет ей, покорно свалится на сорный песок улицы, как убитая.

– Выпялился козел, бесстыжая харя! – ворчит мать Людмилы. Тонкая и высокая, с длинным, нечистым лицом, с коротко остриженными – после тифа – волосами, она была похожа на изработанную метлу.

Рядом с нею сидит Людмила и безуспешно старается отвлечь внимание ее от улицы, упрямо спрашивает о чем-нибудь.

– Отстань, назола, урод несчастный! – бормочет мать, беспокойно мигая; ее узкие монгольские глаза странно светлы и неподвижны, – задели за что-то и навсегда остановились.

– Ты не сердись, мамочка, все равно уж, – говорит Людмила. – Ты погляди-ка, как рогожница разоделась!

– Я бы получше оделась, кабы вас троих не было, сожрали вы меня, слопали, – безжалостно и точно сквозь слезы отвечает мать, вцепившись глазами в большую, широкою вдову рогожника.

Она похожа на маленький дом, грудь у нее выпятилась, подобно крыльцу; красное лицо, прикрытое и срезанное зеленым платком, напоминает слуховое окно, в час, когда стекла его отражают солнце.

Евсеенко, перекинув гармонию на грудь, играет. На гармонии множество ладов, звуки ее неотразимо тянут куда-то, со всей улицы катятся ребятишки, падают к ногам гармониста и замирают в песке, восхищенные.

– погоди, свернут тебе башку, – обещает Евсеенко мужу.

Он молча косится на нее.

А рогожница камнем села неподалеку, на скамью у Хлыстовой лавки, и, склонив голову на плечо, слушает, пылая.

В поле, за кладбищем, рдеет вечерняя заря, по улице, как по реке, плывут ярко одетые большие куски тела, вихрем выются дети, теплый воздух ласков и пьян. Чем-то острым дышит нагретый за день песок, особенно слышен жирный, сладковатый запах боен – запах крови; а со дворов, где живут скорняки, солоно и едко пахнет мездрой. Бабий говор, пьяный рев мужиков, звонкие крики детей, пение басовитой гармоники – все сливается густым гулом, мощно вздыхает неутомимо творящая земля. Все – грубо, обнаженно и внушает большое, крепкое чувство доверия к этой черной жизни, бесстыдно-животной. Хвастаясь своими силами, она тоскливо и напряженно ищет, куда излить их.

И сквозь шум порою доходят до сердца, навсегда укрепляясь в памяти, какие-то особенно жуткие слова:

– Одного воем сразу нельзя бить – надо, по очереди...

– Кто нас пожалеет, коли сами себя не жалеем...

– Али бог бабу на смех родил?..

Ночь близко; свежее воздух, тише гул, деревянные дома пухнут, растут, одеваются тенями. Детей растащили по дворам – спать, иные заснули тут же под заборами, у ног и на коленях матерей. Ребятишки побольше становятся к ночи смирнее, мягче. Евсеенко незаметно исчез, точно растаял, рогожницы тоже нет, басовитая гармоника играет где-то далеко, за кладбищем. Мать Людмилы сидит на лавке, скорчившись, выгнув спину, точно кошка. Бабушка моя ушла пить чай к соседке, повитухе и сводне, большой, жилистой бабе с утиным носом и золотой медалью «за спасение погибавших» на плоской, мужской груди. Вся улица боится ее, считая колдуньей; про нее говорят, что она вынесла из огня, во время пожара, троих детей какого-то полковника и его больную жену.

У бабушки с нею – дружба; встречаясь на улице, обе они еще издали улыбаются друг другу как-то особенно хорошо.

Кострома, Людмила и я сидим у ворот на лавке; Чурка вызвал брата Людмилы бороться, – обнявшись, они топчутся на песке и пьют.

– Перестаньте! – боязливо просит Людмила.

Скосив на нее черные глаза, Кострома рассказывает про охотника Калинина, седенького старичка с хитрыми глазами, человека дурной славы, знакомого всей слободе. Он недавно помер, но его не зарыли в песке кладбища, а поставили гроб поверх земли, в стороне от других могил. Гроб – черный, на высоких ножках, крышка его расписана белой краской, – изображены крест, копьё, трость и две кости.

– Каждую ночь, как только стемнеет, старик встает из гроба и ходит по кладбищу, все чего-то ищет вплоть до первых петухов.

– Не говори о страшном! – просит Людмила.

– Пусти! – кричит Чурка, освобождаясь от объятий брата ее, и насмешливо говорит Костроме: – Что врешь? Я сам видел, как зарывали гроб, а сверху – пустой, для памятника... А что ходит покойник – это пьяные кузнецы выдумали...

Кострома, не глядя на него, сердито предложил:

– Поди переспи на кладбище, коли так!

Они начали спорить, а Людмила, скучно покачивая головой, спрашивала:

– Мамочка, покойники по ночам встают?

– Встают, – повторила мать, точно издали отозвалось эхо.

Подошел сын лавочницы, Валёк, толстый, румяный парень лет двадцати, послушал наш спор и сказал:

– Кто из трех до света пролежит на гробу – двугривенный дам и десяток папирос, а кто струсит – уши надеру, сколько хочу, ну?

Все замолчали, смутясь, а мать Людмилы сказала:

– Глупости какие! Разве можно детей подбивать на этакое...

– Давай рубль – пойду! – угрюмо предложил Чурка.

Кострома тотчас же ехидно спросил:

– А за двугривенный – трусишь? – И сказал Вальку: – Дай ему рубль, все равно не пойдет, форсит только...

– Ну, бери рубль!

Чурка встал с земли и молча, не торопясь, пошел прочь, держась близко к забору. Кострома, сунув пальцы в рот, пронзительно свистнул вслед ему, а Людмила тревожно заговорила:

– Ах, Господи, хвастунишка какой... что же это!

– Куда вам, трусы! – издевался Валёк. – А еще первые бойцы улицы считаетесь, котятка...

Было обидно слушать его издевки; этот сытый парень не нравился нам, он всегда подстрекал ребятишек на злые выходки, сообщал им пакостные сплетни о девицах и женщинах; учил дразнить их; ребятишки слушались его и больно платились за это. Он почему-то ненавидел мою собаку, бросал в нее камнями; однажды дал ей в хлебе иглу.

Но еще обиднее было видеть, как уходит Чурка, съездившись, пристыженный.

Я сказал Вальку:

– Давай рубль, я пойду...

Он, посмеиваясь и пугая меня, отдал рубль Евсеенковой, но женщина строго сказала:

– Не хочу, не возьму!

И сердито ушла. Людмила тоже не решилась взять бумажку; это еще более усилило насмешки Валька. Я уже хотел идти, не требуя с парня денег, но подошла бабушка и, узнав, в чем дело, взяла рубль, а мне спокойно сказала:

– Пальтишко надень да одеяло возьми, а то к утру холодно станет...

Ее слова внушили мне надежду, что ничего страшного не случится со мною.

Валёк поставил условием, что я должен до света лежать или сидеть на гробе, не сходя с него, что бы ни случилось, если даже гроб закачается, когда старик Калинин начнет вылезать из могилы. Спрыгнув на землю, я проиграю.

– Гляди же, – предупредил Валек, – я за тобой всю ночь следить буду!

Когда я пошел на кладбище, бабушка, перекрестив меня, посоветовала:

– Ежели что померещится – не шевелись, а только читай богородицу дево радуйся...

Я шел быстро, хотелось поскорее начать и кончить все это. Меня сопровождали Валёк, Кострома и еще какие-то парни. Перелезая через кирпичную ограду, я запутался в одеяле, упал и тотчас вскочил на ноги, словно подброшенный песком. За оградой хохотали. Что-то екнуло в груди, по коже спины пробежал неприятный холодок.

Спотыкаясь, я дошел до черного гроба. С одной стороны он был занесен песком, с другой – его коротенькие, толстые ножки обнажились, точно кто-то пытался приподнять его и пошатнул. Я сел на край гроба, в ногах его, оглянулся: бугроватое кладбище тесно заставлено серыми крестами, тени, размахнувшись, легли на могилы, обняли их щетинистые холмы. Кое-где, заплутавшись среди крестов, торчат тонкие, тощие березки, связывая ветвями разъединенные могилы; сквозь кружево их теней торчат былинки – эта серая щетина самое жуткое! Снежным сугробом поднялась в небо церковь, среди неподвижных облаков светит маленькая, истаявшая луна.

Язёв отец – Дрянной Мужик – лениво бьет в сторожевой колокол; каждый раз, когда он дергает веревку, она, задевая за железный лист крыши, жалобно поскрипывает, потом раздаётся сухой удар маленького колокола, – он звучит кратко, скучно.

«Не дай господь бессонницу», – вспоминается мне поговорка сторожа.

Жутко. И почему-то – душно, я обливаюсь потом, хотя ночь свежая. Успею ли я добежать до сторожки, в случае если старик Калинин начнет вылезать из могилы?

Кладбище хорошо знакомо мне, десятки раз я играл среди могил с Язём и другими товарищами. Вон там, около церкви, похоронена мать...

Еще не все уснуло, со слободы доносятся всплески смеха, обрывки песен. На буграх, в железнодорожном карьере, где берут песок, или где-то в деревне Катывовке верещит, захлебываясь, гармоника, за оградой идет всегда пьяный кузнец Мячов и поет – я узнаю его по песне:

А у нашей маменьки
И грехи-то маменьки, —
Она не любя никого,
Только тятю одного...

Приятно слышать последние вздохи жизни, но после каждого удара колокола становится тише, тишина разливается, как река по лугам, все топит, скрывает. Душа плавает в бескрайней, бездонной пустоте и гаснет, подобно огню спички во тьме, растворяясь бесследно среди океана этой пустоты, где живут, сверкая, только недосыгаемые звезды, а все на земле исчезло, ненужно и мертво.

Закутавшись в одеяло, я сидел, подобрав ноги, на гробнице, лицом к церкви, и, когда шевелился, гробница поскрипывала, песок под нею хрустел.

Что-то ударило о землю сзади меня раз и два, потом близко упал кусок кирпича, – это было страшно, но я тотчас догадался, что швыряют из-за ограды Валёк и его компания – хотят испугать меня. Но от близости людей мне стало лучше.

Невольно думалось о матери... Однажды, застав меня, когда я пробовал курить папиросы, она начала бить меня, а я сказал:

– Не трогай, и без того уж мне плохо, тошнит очень...

Потом, наказанный, я сидел за печью, а она говорила бабушке:

– Бесчувственный мальчишка, никого не любит...

Обидно было слушать это. Когда мать наказывала меня, мне было жалко ее, неловко за нее: редко она наказывала справедливо и по заслугам.

И вообще – очень много обидного в жизни, вот хотя бы эти люди за оградой, – ведь они хорошо знают, что мне боязно одному на кладбище, а хотят напугать еще больше. Зачем?

Хотелось крикнуть им:

«Подите к черту!»

Но это было опасно, – кто знает, как отнесется к этому черт? Он, наверное, где-нибудь близко.

В песке много кусочков слюды, она тускло блестела в лунном свете, и это напомнило мне, как однажды я, лежа на плотках на Оке, смотрел в воду, – вдруг, почти к самому лицу моему всплыл подлещик, повернулся боком и стал похож на человечью щеку, потом взглянул на меня круглым птичьим глазом, нырнул и пошел в глубину, колеблясь, как падающий лист клена.

Память работала все напряженнее, воскрешая различные случаи жизни, точно защищаясь ими против воображения, упрямо создававшего страшное.

Вот катится еж, стуча по песку твердыми лапками: он напоминает домового – такой же маленький, востроухий.

Вспоминаю, как бабушка, сидя на корточках перед подпечком, приговаривала:

– Ласковый хозяин, выведи тараканов...

Далеко над городом – не видимым мне – становилось светлее, утренний холодок сжимал щеки, слипались глаза. Я свернулся калачиком, окутав голову одеялом, – будь что будет!

Разбудила меня бабушка – стоит рядом со мной и, стаскивая одеяло, говорит:

– Вставай! Не озяб ли? Ну, что – страшно?

– Страшно, только ты не говори никому про это, ребятишкам не говори!

– А почто молчать? – удивилась она. – Коли не страшно, так и хвалиться нечем...

Пошли домой, и дорогой она ласково говорила:

– Все надо самому испытать, голубá душа, все надо самому знать... Сам не поучишься – никто не научит...

К вечеру я стал «героем» улицы, все спрашивали меня:

– Да неужто не страшно?

И когда я говорил: «Страшно!» – качая головами, восклицали:

– Ага! Вот видишь?

Лавочница же громко и убежденно заявила:

– Стало быть, ввали, что Калинин встает. Кабы вставал, – разве испугался бы мальчишки?

Да он бы его смахнул с кладбища и не видать куда.

Людмила смотрела на меня с ласковым удивлением, даже дед был, видимо, доволен мною, все ухмылялся. Только Чурка сказал угрюмо:

– Ему – легко, у него бабушка – ведьма!

Глава III

Незаметно, как маленькая звезда на утренней заре, погас брат Коля. Бабушка, он и я спали в маленьком сарайчике, на дровах, прикрытых разным тряпьем; рядом с нами, за щелявой стеной из горбушин, был хозяйский курятник; с вечера мы слышали, как встряхивались и клохтали, засыпая, сытые куры; утром нас будил золотой горластый петух.

– О, чтоб тебя рбзорвало! – ворчала бабушка, просыпаясь.

Я уже не спал, наблюдая, как сквозь щели дровяника пробиваются ко мне на постель лучи солнца, а в них пляшет какая-то серебряная пыль, – эти пылинки – точно слова в сказке. В дровах шуршат мыши, бегают красненькие букашки с черными точками на крыльях.

Иногда, уходя от душных испарений куриного помета, я вылезал из дровяника, забирался на крышу его и следил, как в доме просыпались безглазые люди, огромные, распухшие во сне.

Вот высунулась из окна волосатая башка лодочника Ферманова, угрюмого пьяницы; он смотрит на солнце крошечными щелками заплывших глаз и хрюкает, точно кабан. Выбежал на двор дед, обеими руками приглаживая рыженькие волосенки, – спешит в баню обливаться холодной водой. Болтливая кухарка домохозяйина, остроносая, густо обрызганная веснушками, похожа на кукушку, сам хозяин – на старого, ожиревшего голубя, и все люди напоминают птиц, животных, зверей.

Утро такое милое, ясное, но мне немножко грустно и хочется уйти в поле, где никого нет, – я уж знаю, что люди, как всегда, запачкают светлый день.

Однажды, когда я лежал на крыше, бабушка позвала меня и негромко сказала, кивнув головой на свою постель:

– Помер Коля-то...

Мальчик съехал с кумача подушки и лежал на войлоке, синеватый, голенький, рубашка сбилась к шее, обнажив вздутый живот и кривые ножки в язвах, руки странно подложены под поясницу, точно он хотел приподнять себя. Голова чуть склонилась набок.

– Слава богу, отошел, – говорила бабушка, расчесывая волосы свои. – Что бы он жил, убогонький-то?

Притопывая, точно танцуя, явился дед, осторожно потрогал пальцем закрытые глаза ребенка; бабушка сердито сказала:

– Что трогаешь немытыми-то руками?

Он забормотал:

– Вот – родили... жил, ел... ни то ни се...

– Проснись, – остановила его бабушка.

Он слепо взглянул на нее и пошел на двор, говоря:

– Мне хоронить не на что, как хошь сама...

– Тьфу ты, несчастный!

Я ушел и вплоть до вечера не возвращался домой.

Хоронили Колю утром другого дня; я не пошел в церковь и всю обедню сидел у разрытой могилы матери, вместе с собакой и Язёвым отцом. Он вырыл могилу дешево и все хвастался этим передо мной.

– Это я только по знакомству, а то бы – рубль...

Заглядывая в желтую яму, откуда исходил тяжелый запах, я видел в боку ее черные, влажные доски. При малейшем движении моем бугорки песку вокруг могилы осыпались, тонкие струйки текли на дно, оставляя по бокам морщины. Я нарочно двигался, чтобы песок скрыл эти доски.

– Не балуй, – сказал Язёв отец, покуривая.

Бабушка принесла на руках белый гробик, Дрянной Мужик прыгнул в яму, принял гроб, поставил его рядом с черными досками и, выскочив из могилы, стал толкать туда песок и ногами, и лопатой. Трубка его дымилась, точно кадило. Дед и бабушка тоже молча помогали ему. Не было ни попов, ни нищих, только мы четверо в густой толпе крестов.

Отдавая деньги сторожу, бабушка сказала с укором:

– А ты все-таки потревожил Варину-то домовину...

– Как иначе! И то я чужой земли прихватил. Это – ничего!

Бабушка поклонилась могиле до земли, всхлипнула, взвыла и пошла, а за нею – дед, скрыв глаза под козырьком фуражки, одергивая потертый сюртук.

– Сеяли семя в непахану землю, – сказал он вдруг, убегая вперед, точно ворон по пашне.

Я спросил бабушку:

– Чего он?

– Бог с ним! У него свои мысли, – ответила она.

Было жарко, бабушка шла тяжело, ноги ее тонули в теплом песке, она часто останавливалась, отирая потное лицо платком.

Я спросил ее, понатужась:

– Черное-то в могиле – это материн гроб?

– Да, – сказала она сердито. – Пес неумный... Года еще нет, а сгнила Варя-то! Это все от песку, – он воду пропускает. Кабы глина была, лучше бы...

– Все гниют?

– Все. Только святых минует это...

– Ты – не сгниешь!

Она остановилась, поправила картуз на моей голове и серьезно посоветовала:

– Не думай-ка про это, не надо. Слышишь?

Но я думал: «Как это обидно и противно – смерть. Вот гадость!»

Мне было очень плохо.

Когда пришли домой, дед уже приготовил самовар, накрыл на стол.

– Попьем чайку, а то – жарко, – сказал он. – Я уж своего заварю. На всех.

Подшел к бабушке и похлопал ее по плечу.

– Что, мать, а?

Бабушка махнула рукой.

– Что уж тут!

– То-то вот! Прогневался на нас Господь, отрывает кусок за куском... Кабы семьи-то крепко жили, как пальцы на руке...

Давно не говорил он так мягко и миролюбиво. Я слушал его и ждал, что старик погасит мою обиду, поможет мне забыть о желтой яме и черных, влажных ключьях в боку ее.

Но бабушка сурово остановила его:

– Перестань-ка, отец! Всю жизнь говоришь ты эти слова, а кому от них легче? Всю жизнь ел ты всех, как ржа железо...

Дед крикнул, взглянул на нее и замолчал.

Вечером, у ворот, я с тоскою поведал Людмиле о том, что увидел утром, но это не произвело на нее заметного впечатления.

– Сиротой жить лучше. Умри-ка у меня отец с матерью, я бы сестру оставила на брата, а сама – в монастырь на всю жизнь. Куда мне еще? Замуж я не гожусь, хромая – не работница. Да еще детей тоже хромых родишь...

Она говорила разумно, как все бабы нашей улицы, и, должно быть, с этого вечера я потерял интерес к ней; да и жизнь пошла так, что я все реже встречал подругу.

Через несколько дней после смерти брата дед сказал мне:

– Ложись сегодня раньше, на свету разбужу, в лес пойдем за дровами...

– А я – травок пособираю, – заявила бабушка.

Лес, еловый и березовый, стоял на болоте, верстах в трех от слободы. Обилен сухостоем и валежником, он размахнулся в одну сторону до Оки, в другую – шел до шоссеиной дороги на Москву, и дальше, за дорогу. Над его мягкой щетиной черным шатром высоко поднималась сосновая чаща – Савелова Грива.

Все это богатство принадлежало графу Шувалову и охранялось плохо; кунавинское мещанство смотрело на него как на свое, собирало валежник, рубило сухостой, не брезгуя при случае и живым деревом. По осени, запасая дрова на зиму, в лес снаряжались десятки людей с топорами и веревками за поясом.

Вот и мы трое идем на рассвете по зелено-серебряному росному полю; слева от нас, за Окою, над рыжими боками Дятловых гор, над белым Нижним Новгородом, в холмах зеленых садов, в золотых главах церквей, встает не торопясь русское ленивенькое солнце. Тихий ветер сонно веет с тихой, мутной Оки, качаются золотые лютики, отягченные росой, лиловые колокольчики немотно опустили к земле, разноцветные бессмертники сухо торчат на малопродукном дерне, раскрывает алые звезды «ночная красавица» – гвоздика...

Темною ратью двигается лес навстречу нам. Крылатые ели – как большие птицы; березы – точно девушки. Кислый запах болота течет по полю. Рядом со мною идет собака, высунув розовый язык, останавливается и, принявшись, недоуменно качает лисьей головой.

Дед, в бабушкиной кацавейке, в старом картузе без козырька, шурится, чему-то улыбается, шагает тонкими ногами осторожно, точно крадется. Бабушка, в синей кофте, в черной юбке и белом платке на голове, катится по земле споро – за нею трудно поспеть.

Чем ближе лес, тем оживленнее дед; потягивая воздух носом, покрякивая, он говорит вначале отрывисто, невнятно, потом, словно пьянея, весело и красиво:

– Леса – господни сады. Никто их не сеял, один ветер божий, святое дыхание уст его... Бывало, в молодости, в Жигулях, когда я бурлаком ходил... Эх, Лексей, не доведется тебе видеть-испытать, что мною испытано! На Оке леса – от Касимова до Муромы, али – за Волгой лес, до Урала идет, да! Все это безмерно и пречудесно...

Бабушка смотрит на него искоса и подмигивает мне, а он, спотыкаясь о кочки, дробно сыплет сухонькие слова, засевая ими мою память.

– Вели мы из Саратова расшиву с маслом к Макарию на ярмарку, и был у нас приказчик Кирилло, из Пуреха, а водоливом – татарин касимовский, Асаф, что ли... Дошли до Жигуля, а хватил ветер верховой в глаза нам – выбились из силушки, встали на мертвую, закачались, – сошли на берег кашу варить. А – май на земле, Волга-то морем лежит, и волна по ней стайно гуляет, будто лебеди, тысячами, в Каспий плывут. Горы-то Жигули, зеленые по-вешнему, в небо взмахнули, в небушке облака белые пасутся, солнце тает на землю золотом. Отдыхаем, любуемся, подобрели все друг ко другу; на реке-то сиверко, холодно, а на берегу – тепло, душисто! Под вечер Кирилло наш – суровый был мужчина и в летах – встал на ноги, шапку снял да и говорит: «Ну, ребята, я вам боле не начальник, не слуга, идите – сами, а я в леса отойду!» Мы все встряхнулись – как да что? Нам ведь без ответного перед хозяином человека нельзя – без головы люди не ходят! Оно хоть и Волга, а и на прямом пути сбиться можно. Народ – зверь безумный, ему – чего жалко? Испугались. А он – свое: «Не хочу боле этак жить, пастухом вашим, уйду в леса!» Мы было – которые – собрались бить его да вязать, а которые – задумались о нем, кричат: «Стойте!» А водолив-татарин тоже кричит: «И я ухожу!» Совсем беда. Ему, татарину, за две путины хозяином не плачено, да полпути в третьи сделал – большие деньги по той поре! Кричали, кричали до самой ночи, а к ночи семеро ушло от нас, остались мы – не то шестнадцать, не то – четырнадцать. Вот те и лес!

– Они – в разбойники ушли?

– Может – в разбойники, а может – в отшельники, – в ту пору не очень разбирали эти дела...

Бабушка крестится.

– Пресвятая мать божия! Как подумаешь про людей-то, так станет жалко всех.

– Всем дан один разум – знай, куда бес тянет...

Входим в лес по мокрой тропе, среди болотных кочек и хилого ельника. Мне кажется, что это очень хорошо – навсегда уйти в лес, как ушел Кирилло из Пуреха. В лесу нет болтливых людей, драк, пьянства, там забудешь о противной жадности деда, о песчаной могиле матери, обо всем, что, обижая, давит сердце тяжелой скукой.

На сухом месте бабушка говорит:

– Надо закусить, сядемте-ка!

В лукошке у нее ржаной хлеб, зеленый лук, огурцы, соль и творог в тряпицах; дед смотрит на все это конфузливо и мигает.

– А я ничего не взял еды-то, ох, мать честная...

– Хватит на всех...

Сидим, прислонясь к медному стволу мачтовой сосны; воздух насыщен смолистым запахом, с поля веет тихий ветер, качаются хвои; темной рукою бабушка срывает травы и рассказывает мне о целебных свойствах зверобоя, буквицы, подорожника, о таинственной силе папоротника, клейкого иван-чая, пыльной травы-плавуна.

Дед рубит валежник, я должен сносить нарубленное в одно место, но я незаметно ухожу в чащу, вслед за бабушкой, – она тихонько плавает среди могучих стволов и, точно ныряя, все склоняется к земле, осыпанной хвоей. Ходит и говорит сама с собою:

– Рано опять пошли – мало будет гриба! Плохо ты, Господи, о бедных заботишься, бедному и гриб – лакомство!

Я иду за нею молча, осторожно, заботясь, чтобы она не замечала меня: мне не хочется мешать ее беседе с богом, травами, лягушками...

Но она видит меня.

– Сбежал от деда-то?

И, кланяясь черной земле, пышно одетой в узорчатую ризу трав, она говорит о том, как однажды бог, во гневе на людей, залил землю водою и потопил все живое.

– А премилая мать его собрала заранее все семена в лукошко, да и спрятала, а после просит солнышко: осуши землю из конца в конец, за то люди тебе славу споют! Солнышко землю высушило, а она ее спрятанным зерном и засеяла. Смотрит господь: опять обрастает земля живым – и травами, и скотом, и людьми!.. Кто это, говорит, наделал против моей воли? Тут она ему покаялась, а господу-то уж и самому жалко было видеть землю пустой, и говорит он ей: это хорошо ты сделала!

Мне нравится рассказ, но я удивлен и пресерьезно говорю:

– Разве так было? Божья-то мать родилась долго спустя после потопа.

Теперь бабушка удивлена.

– Это кто тебе сказал?

– В училище, в книжках написано...

Это ее успокаивает, она советует мне:

– А ты брось-ка, забудь это, книжки все; врут они, книжки-то!

И смеется тихонько, весело.

– Придумали, дурачки! Бог – был, а матери у него не было, эка! От кого же он родился?

– Не знаю.

– Вот хорошо! До «не знаю» доучился!

– Поп говорил, что божья мать родилась от Иоакима и Анны.

– Марья Якимовна, значит?

Бабушка уже сердится, – стоит против меня и строго смотрит прямо в глаза мне:

– Если ты эдак будешь думать, я тебя так-то ли отшлепаю!

Но через минуту объясняет мне:

– Богородица всегда была, раньше всего! От нее родился бог, а потом...

– А Христос – как же?

Бабушка молчит, смущенно закрыв глаза.

– А Христос... да, да, да?

Я вижу, что победил, запутал ее в тайнах божьих, и это мне неприятно.

Уходим все дальше в лес, в синеватую мглу, изрезанную золотыми лучами солнца. В тепле и уюте леса тихонько дышит какой-то особенный шум, мечтательный и возбуждающий мечты. Скрипят клесты, звенят синицы, смеется кукушка, свистит иволга, немолчно звучит ревнивая песня зяблика, задумчиво поет странная птица – щур. Изумрудные лягушата прыгают под ногами; между корней, подняв золотую головку, лежит уж и стережет их. Щелкает белка, в лапах сосен мелькает ее пушистый хвост; видишь невероятно много, хочется видеть все больше, идти все дальше.

Между стволов сосен являются прозрачные, воздушные фигуры огромных людей и исчезают в зеленой густоте; сквозь нее просвечивает голубое, в серебре, небо. Под ногами пыльным ковром лежит мох, расшитый брусничником и сухими нитями клюквы, костяника – сверкает в траве каплями крови, грибы дразнят крепким запахом.

– Пресвятая Богородица, ясный свет земной, – вздыхая, молится бабушка.

Она в лесу – точно хозяйка и родная всему вокруг, – она ходит медведицей, все видит, все хвалит и благодарит. От нее – точно тепло течет по лесу, и когда мох, примятый ее ногой, расправляется и встает – мне особенно приятно это видеть.

Идешь и думаешь: хорошо быть разбойником; грабить жадных, богатых, отдавать награбленное бедным, – пусть все будут сыты, веселы, не завистливы и не лаются друг с другом, как злые псы. Хорошо также дойти до бабушкина бога, до ее богородицы и сказать им всю правду о том, как плохо живут люди, как нехорошо, обидно хоронят они друг друга в дрянном песке. И сколько вообще обидного на земле, чего вовсе не нужно. Если Богородица поверит мне, пусть даст такой ум, чтоб я мог все устроить иначе, получше как-нибудь. Пусть бы люди слушали меня с доверием, – уж я бы поискал, как жить лучше! Это ничего, что я маленький, – Христос был всего на год старше меня, а уж в то время мудрецы его слушали...

Однажды, ослепленный думами, я провалился в глубокую яму, распоров себе сучком бок и разорвав кожу на затылке. Сидел на дне, в холодной грязи, липкой, как смола, и с великим стыдом чувствовал, что сам я не вылезу, а пугать криком бабушку было неловко. Однако я позвал ее.

Она живо вытащила меня и, крестясь, говорила:

– Слава те, Господи! Ну, ладно, что пустая берлога, а кабы там да хозяин лежал?

И заплакала сквозь смех. Потом повела меня к ручью, вымыла, перевязала раны своей рубашкой, приложив каких-то листьев, утоливших боль, и отвела в железнодорожную будку, – до дому я не мог дойти, сильно ослабев.

Я стал почти каждый день просить бабушку:

– Пойдем в лес!

Она охотно соглашалась, и так мы прожили все лето, до поздней осени, собирая травы, ягоды, грибы и орехи. Собранное бабушка продавала, и этим кормились.

– Дармоеды! – скрипел дед, хотя мы совершенно не пользовались его хлебом.

Лес вызывал у меня чувство душевного покоя и уюта; в этом чувстве исчезли все мои огорчения, забывалось неприятное, и в то же время у меня росла особенная настороженность ощущений: слух и зрение становились острее, память – более чуткой, вместилище впечатлений – глубже.

И все более удивляла меня бабушка, я привык считать ее существом высшим всех людей, самым добрым и мудрым на земле, а она неустанно укрепляла это убеждение. Как-то вечером,

набрав белых грибов, мы, по дороге домой, вышли на опушку леса; бабушка присела отдохнуть, а я зашел за деревья – нет ли еще гриба?

Вдруг слышу ее голос и вижу: сидя на тропе, она спокойно срезает корни грибов, а около нее, вывесив язык, стоит серая, поджарая собака.

– А ты иди, иди прочь! – говорит бабушка. – Иди с богом!

Незадолго перед этим Валёк отравил мою собаку; мне очень захотелось приманить эту, новую. Я выбежал на тропу, собака странно изогнулась, не ворочая шеей, взглянула на меня зеленым взглядом голодных глаз и прыгнула в лес, поджав хвост. Осанка у нее была не собачья, и, когда я свистнул, она дико бросилась в кусты.

– Видал? – улыбаясь, спросила бабушка. – А я вначале опозналась, думала – собака, гляжу – ан клыки-то волчьи, да и шея тоже! Испугалась даже: ну, говорю, коли ты волк, так иди прочь! Хорошо, что летом волки смиренны...

Она никогда не плутала в лесу, безошибочно определяя дорогу к дому. По запахам трав она знала, какие грибы должны быть в этом месте, какие – в ином, и часто экзаменовала меня.

– А какое дерево рыжик любит? А как ты отличишь хорошую сыроежку от ядовитой? А какой гриб любит папоротник?

По незаметным царапинкам на коре дерева она указывала мне беличьи дупла, я влезал на дерево и опустошал гнездо зверька, выбирая из него запасы орехов на зиму; иногда в гнезде их было фунтов до десяти...

И однажды, когда я занимался этим делом, какой-то охотник всадил мне в правую сторону тела двадцать семь штук бекасиной дроби; одиннадцать бабушка выковыряла иглой, а остальные сидели в моей коже долгие годы, постепенно выходя.

Бабушке нравилось, что я терпеливо отношусь к боли.

– Молодец, – хвалила она, – есть терпенье, будет и уменье!

Каждый раз, когда у нее скопилось немножко денег от продажи грибов и орехов, она раскладывала их под окнами «тихой милостыней», а сама даже по праздникам ходила в отрепье, в заплатках.

– Хуже нищей ходишь, срамишь меня, – ворчал дед.

– Ничего, я тебе – не дочь, я ведь не в невестах...

Их ссоры становились все более частыми.

– Я не более других грешен, – обиженно кричал дед, – а наказан больше!

Бабушка поддразнивала его:

– Черти знают, кто чего стоит.

И говорила мне с глазу на глаз:

– Боится старик мой чертушек-то! Вон как стареет быстро, со страху-то... Эх, бедный человек...

Я очень окреп за лето и одичал в лесу, утратив интерес к жизни сверстников, к Людмиле, – она казалась мне скучно-умной...

Однажды дед пришел из города мокрый весь – была осень, и шли дожди – встряхнулся у порога, как воробей, и торжественно сказал:

– Ну, шалыган, завтра собирайся на место!

– Куда еще? – сердито спросила бабушка.

– К сестре твоей Матрене, к сыну ее...

– Ох, отец, худо ты выдумал!

– Молчи, дура! Может, его чертежником сделают.

Бабушка молча опустила голову.

Вечером я сказал Людмиле, что ухожу в город, там буду жить.

– И меня скоро повезут туда, – сообщила она задумчиво. – Папа хочет, чтобы мне вовсе отрезали ногу, без ноги я буду здоровая.

За лето она похудела, кожа лица ее стала голубоватой, а глаза выросли.

– Боишься? – спросил я.

– Боюсь, – сказала она, беззвучно заплакав.

Нечем было утешить ее – я сам боялся жизни в городе. Мы долго сидели в унылом молчании, прижавшись друг к другу.

Будь лето, я уговорил бы бабушку пойти по миру, как она ходила, будучи девочкой. Можно бы и Людмилу взять с собой, – я бы возил ее в тележке...

Но была осень, по улице летел сырой ветер, небо окутано неиссякаемыми облаками, земля сморщилась, стала грязной и несчастной...

Глава IV

Я снова в городе, в двухэтажном белом доме, похожем на гроб, общий для множества людей. Дом – новый, но какой-то худосочный, вспухший, точно нищий, который внезапно разбогател и тотчас объелся до ожирения. Он стоит боком на улицу, в каждом этаже его по восемь окон, а там, где должно бы находиться лицо дома, – по четыре окна; нижние смотрят в узенький проезд, на двор, верхние – через забор, на маленький домик прачки и в грязный овраг.

Улицы, как я привык понимать ее, – нет; перед домом распластался грязный овраг, в двух местах его перерезали узкие дамбы. Налево овраг выходит к арестантским ротам, в него сваливают мусор со дворов, и на дне его стоит лужа густой, темно-зеленой грязи; направо, в конце оврага, киснет илистый Звездин пруд, а центр оврага – как раз против дома; половина засыпана сором, заросла крапивой, лопухами, конским щавелем, в другой половине священник Доримедонт Покровский развел сад; в саду – беседка из тонких дранок, окрашенных зеленою краской. Если в эту беседку бросать камни – дранки с треском лопаются.

Место донельзя скучное, нахально грязное; осень жестоко изуродовала сорную глинистую землю, претворив ее в рыжую смолу, цепко хватающую за ноги. Я никогда еще не видал так много грязи на пространстве столь небольшом, и, после привычки к чистоте поля, леса, этот угол города возбуждал у меня тоску.

За оврагом тянутся серые, ветхие заборы, и далеко среди них я вижу бурый домишко, в котором жил зимою, будучи мальчиком в магазине. Близость этого дома еще более угнетает меня. Почему мне снова пришлось жить на этой улице?

Хозяина моего я знаю, он бывал в гостях у матери моей вместе с братом своим, который смешно пищал:

– Андрей-папá, Андрей-папá.

Они оба такие же, как были: старший, горбоносый, с длинными волосами, приятен и, кажется, добрый; младший, Виктор, остался с тем же лошадиным лицом и в таких же веснушках. Их мать – сестра моей бабушки – очень сердита и криклива. Старший – женат, жена у него пышная, белая, как пшеничный хлеб, у нее большие глаза, очень темные.

В первые же дни она раза два сказала мне:

– Я подарила матери твоей шелковую тальму, со стеклярусом...

Мне почему-то не хотелось верить, что она подарила, а мать приняла подарок. Когда же она напомнила мне об этой тальме еще раз, я посоветовал ей:

– Подарила, так уж не хвастайся.

Она испуганно отскочила от меня.

– Что-о? Ты с кем говоришь?

Лицо ее покрылось красными пятнами, глаза выкатились, она позвала мужа.

Он пришел в кухню с циркулем в руках, с карандашом за ухом, выслушал жену и сказал мне:

– Ей и всем надо говорить – вы. А дерзостей не надо говорить!

Потом нетерпеливо сказал жене:

– Не беспокой ты меня пустяками!

– Как – пустяки! Если твоя родня...

– Черт ее возьми, родню! – закричал хозяин и убежал.

Мне тоже не нравилось, что эти люди – родня бабушке; по моим наблюдениям, родственники относятся друг к другу хуже чужих: больше чужих зная друг о друге худого и смешного, они злее сплетничают, чаще ссорятся и дерутся.

Хозяин понравился мне, он красиво встряхивал волосами, заправляя их за уши, и напоминал мне чем-то Хорошее Дело. Часто, с удовольствием смеялся, серые глаза смотрели добродушно, около ястребиного носа забавно играли смешные морщинки.

– Довольно вам ругаться, звери-курицы! – говорил он жене и матери, обнажая мягкой улыбкой мелкие, плотные зубы.

Свекровь и сноха ругались каждый день; меня очень удивляло, как легко и быстро они ссорятся. С утра, обе нечесанные, расстегнутые, они начинали метаться по комнатам, точно в доме случился пожар: сутились целый день, отдыхая только за столом во время обеда, вечернего чая и ужина. Пили и ели много, до опьянения, до усталости, за обедом говорили о кушаньях и ленивенько переругивались, готовясь к большой ссоре. Что бы ни изготовила свекровь, сноха непременно говорила:

– А моя мамаша делает это не так.

– Не так, значит – хуже!

– Нет – лучше!

– Ну, и ступай к своей мамаше.

– Я здесь – хозяйка!

– А я кто?

Вмешивался хозяин:

– Довольно, звери-курицы! Что вы – с ума сошли?

В доме все было необъяснимо странно и смешно: ход из кухни в столовую лежал через единственный в квартире маленький, узкий клозет; через него вносили в столовую самовары и кушанье, он был предметом веселых шуток и – часто – источником смешных недоразумений. На моей обязанности лежало наливать воду в бак клозета, а спал я в кухне, против его двери и у дверей на парадное крыльцо: голове было жарко от кухонной печи, в ноги дуло с крыльца; ложась спать, я собирал все половики и складывал их на ноги себе.

В большой зале, с двумя зеркалами в простенах, картинами-премиями «Нивы» в золотом багете, с парой карточных столов и дюжиной венских стульев, было пустынно и скучно. Маленькая гостиная тесно набита пестрой мягкой мебелью, горками с «приданным», серебром и чайной посудой; ее украшали три лампы, одна другой больше. В темной, без окон, спальне, кроме широкой кровати, стояли сундуки, шкапы, от них исходил запах листового табаку и персидской ромашки. Эти три комнаты всегда были пусты, а хозяева теснились в маленькой столовой, мешая друг другу. Тотчас после утреннего чая, в восемь часов, хозяин с братом раздвигали стол, раскладывали на нем листы белой бумаги, готовальни, карандаши, блюдца с тушью и принимались за работу, один на конце стола, другой против него. Стол качался. Он загромождал всю комнату, когда из детской выходила нянька с хозяйкой, они задевали углы стола.

– Да не шляйтесь вы тут! – кричал Виктор.

Хозяйка обиженно просила мужа:

– Вася, скажи ему, чтоб он на меня не орал!

– А ты не тряси стол, – миролюбиво советовал хозяин.

– Я – беременная, тут – тесно...

– Ну, мы уйдем работать в залу.

Но хозяйка кричала, негодуя:

– Господи, кто же в зале работает?

Из двери клозета высовывается злое, раскаленное огнем печи лицо старухи Матрены Ивановны, она кричит:

– Вот, Вася, гляди: ты работаешь, а она в четырех комнатах отелиться не может. Дворянка с Гребешка, умишка ни вершка...

Виктор ехидно смеется, а хозяин кричит:

– Довольно!

Но сноха, облив свекровь ручьями ядовитейшего красноречия, валится на стул и стонет:
– Уйду! Умру!

– Не мешайте мне работать, черт вас возьми! – орет хозяин, бледный с натуги. – Сумасшедший дом – ведь для вас же спину ломаю, вам на корм! О, звери-курицы...

Сначала эти ссоры пугали меня, особенно я был испуган, когда хозяйка, схватив столовый нож, убежала в клозет и, заперев обе двери, начала дико рычать там. На минуту в доме стало тихо, потом хозяин уперся руками в дверь, согнулся и крикнул мне:

– Лезь, разбей стекло, сними крючок с пробоя!

Я живо вскочил на спину его, вышиб стекло над дверью, но когда нагнулся вниз – хозяйка усердно начала колотить меня по голове черенком ножа. Я все-таки успел отпереть дверь, и хозяин, с боем вытащив супругу в столовую, отнял у нее нож. Сидя в кухне и потирая избитую голову, я быстро догадался, что пострадал зря: нож был тупой, им даже хлеба кусок трудно отрезать, а уж кожу – никак не прорежешь; мне не нужно было влезать на спину хозяина, я мог бы разбить стекло со стула и, наконец, удобнее было снять крючок взрослому – руки у него длиннее. После этой истории – ссоры в доме больше уже не пугали меня.

Братья пели в церковном хоре; случалось, что они начинали тихонько напевать за работой, старший пел баритоном:

Кольцо души девицы
Я в мо-ре ур-ронил...

Младший вступал тенором:

И с тем кольцом я счастье
Земное погубил.

Из детской раздавался тихий возглас хозяйки:

– Вы с ума сошли? Ребенок спит...

Или:

– Ты, Вася, женат, можно и не петь о девицах, к чему это? Да скоро и ко всеобщей ударят...

– Ну, так мы – церковное...

Но хозяйка внушала, что церковное вообще неуместно петь где-либо, а тут еще... – и она красноречиво показала рукой на маленькую дверь.

– Надо будет переменить квартиру, а то – черт знает что! – говорил хозяин.

Не менее часто он говорил, что надо переменить стол, но он говорил это на протяжении трех лет.

Слушая беседы хозяев о людях, я всегда вспоминал магазин обуви – там говорили так же. Мне было ясно, что хозяева тоже считают себя лучшими в городе, они знают самые точные правила поведения и, опираясь на эти правила, неясные мне, судят всех людей безжалостно и беспощадно. Суд этот вызывал у меня лютую тоску и досаду против законов хозяев, нарушать законы – стало источником удовольствия для меня.

Работы у меня было много: я исполнял обязанности горничной, по средам мыл пол в кухне, чистил самовар и медную посуду, по субботам – мыл полы всей квартиры и обе лестницы. Колол и носил дрова для печей, мыл посуду, чистил овощи, ходил с хозяйкой по базару, таская за нею корзину с покупками, бегал в лавочку, в аптеку.

Мое ближайшее начальство – сестра бабушки, шумная, неукротимо гневная старуха, вставала рано, часов в шесть утра; наскоро умывшись, она, в одной рубахе, становилась на колени перед образом и долго жаловалась богу на свою жизнь, на детей, на сноху.

– Господи! – со слезами в голосе восклицает она, прижав ко лбу пальцы, сложенные шепотью. – Господи, ничего я не прошу, ничего мне не надо, – дай только отдохнуть, успокой меня, Господи, силой твоею!

Ее вопли будили меня; проснувшись, я смотрел из-под одеяла и со страхом слушал жаркую молитву. Осеннее утро мутно заглядывает в окно кухни, сквозь стекла, облитые дождем; на полу, в холодном сумраке, качается серая фигура, тревожно размахивая рукою; с ее маленькой головы из-под сбитого платка осыпались на шею и плечи жиденькие светлые волосы, платок все время спадал с головы; старуха, резко поправляя его левой рукой, бормочет:

– А, чтоб те рóзорвало!

С размаху бьет себя по лбу, по животу, плечам и шипит:

– А сноху – накажи, Господи, меня ради; зачти ей все, все обиды мои! И открой глаза сыну моему, – на нее открой и на Викторушку! Господи, помоги Викторушке, подай ему милостей твоих...

Викторушка спит тут же в кухне, на полатях; разбуженный стонами матери, он кричит сонным голосом:

– Мамаша, опять вы орете спозаранку! Это просто беда!

– Ну, ну, спи себе, – виновато шепчет старуха. Минуту, две качается молча и вдруг снова мстительно возглашает: – И чтоб пострелило их в кости, и ни дна бы им ни покрывшки, Господи...

Так страшно даже дедушка мой не молился.

Помолясь, она будила меня:

– Вставай, будет дрыхнуть, не затем живешь!.. Ставь самовар, дров неси, – лучины-то не приготовил с вечера? У!

Я стараюсь делать все быстро, только бы не слышать шипучего шепота старухи, но угодить ей – невозможно; она носится по кухне, как зимняя вьюга, и шипит, завывая:

– Тише, бес! Викторушку разбудишь, я те задам! Беги в лавочку...

По будням к утреннему чаю покупали два фунта пшеничного хлеба и на две копейки грошовых булочек для молодой хозяйки. Когда я приносил хлеб, женщины подозрительно осматривали его и, взвешивая на ладони, спрашивали:

– А привеска не было? Нет? Ну-ка, открой рот! – и торжествующе кричали: – Сожрал привесок, вон крошки-то в зубах!

...Работал я охотно, – мне нравилось уничтожать грязь в доме, мыть полы, чистить медную посуду, отдушники, ручки дверей; я не однажды слышал, как в мирные часы женщины говорили про меня:

– Усердный.

– Чистоплотен.

– Только дерзок очень.

– Ну, матушка, кто ж его воспитывал!

И обе старались воспитывать во мне почтение к ним, но я считал их полоумными, не любил, не слушал и разговаривал с ними зуб за зуб. Молодая хозяйка, должно быть, замечала, как плохо действуют на меня некоторые речи, и поэтому все чаще говорила:

– Ты должен помнить, что взят из нищей семьи! Я твоей матери шелковую тальму подарила. Со стеклярусом!

Однажды я сказал ей:

– Что же мне за эту тальму шкуру снять с себя для вас?

– Батюшки, да он поджечь может! – испуганно вскричала хозяйка.

Я был крайне удивлен: почему – поджечь?

Они обе то и дело жаловались на меня хозяину, а хозяин говорил мне строго:

– Ты, брат, смотри у меня!

Но однажды он равнодушно сказал жене и матери:

– Тоже и вы хороши! Ездите на мальчишке, как на мерине, – другой бы давно убежал али издох от такой работы...

Это рассердило женщин до слез; жена, топая ногою, кричала исступленно:

– Да разве можно при нем так говорить, дурак ты длинноволосый! Что же я для него, после этих слов? Я женщина беременная.

Мать выла плачевно:

– Бог тебя прости, Василий, только – помяни мое слово – испортишь ты мальчишку!

Когда они ушли, в гневе, – хозяин строго сказал:

– Видишь, чертушка, какой шум из-за тебя? Вот я отправлю тебя к дедушке, и будешь снова тряпичником!

Не стерпев обиды, я сказал:

– Тряпичником-то лучше жить, чем у вас! Приняли в ученики, а чему учите? Помои выносить...

Хозяин взял меня за волосы, без боли, осторожно и, заглядывая в глаза мне, сказал удивленно:

– Однако ты ерш! Это, брат, мне не годится, не-ет...

Я думал – меня прогонят, но через день он пришел в кухню с трубкой толстой бумаги в руках, с карандашом, угольником и линейкой.

– Кончишь чистить ножи – нарисуй вот это!

На листе бумаги был изображен фасад двухэтажного дома со множеством окон и лепных украшений.

– Вот тебе циркуль! Смеряй все линии, нанеси концы их на бумагу точками, потом проведи по линейке карандашом от точки до точки. Сначала вдоль – это будут горизонтальные, потом поперек – это вертикальные. Валяй!

Я очень обрадовался чистой работе и началу учения, но смотрел на бумагу и инструменты с благоговейным страхом, ничего не понимая.

Однако тотчас же, вымыв руки, сел учиться. Провел на листе все горизонтальные, сверил – хорошо! Хотя три оказались лишними. Провел все вертикальные и с изумлением увидел, что лицо дома нелепо исказилось: окна перебрались на места простенков, а одно, выехав за стену, висело в воздухе, по соседству с домом. Парадное крыльцо тоже поднялось на воздух до высоты второго этажа, карниз очутился посередине крыши, слуховое окно – на трубе.

Я долго, чуть не со слезами, смотрел на эти непоправимые чудеса, пытаюсь понять, как они совершились. И, не поняв, решил исправить дело помощью фантазии: нарисовал по фасаду дома на всех карнизах и на гребне крыши ворон, голубей, воробьев, а на земле перед окном – кривоногих людей, под зонтиками, не совсем прикрывшими их уродства. Затем исчертил все это наискось полосками и отнес работу учителю.

Он высоко поднял брови, взбил волосы и угрюмо осведомился:

– Это что же такое?

– Дождик идет, – объяснил я. – При дожде все дома кажутся кривыми, потому что дождик сам – кривой всегда. Птицы – вот это всё птицы – спрятались на карнизах. Так всегда бывает в дождь. А это – люди бегут домой, вот – барыня упала, а это разносчик с лимонами...

– Покорно благодарю, – сказал хозяин и, склонясь над столом, сметая бумагу волосами, захохотал, закричал: – Ох, чтоб тебя вдребезги разнесло, зверь-воробей!

Пришла хозяйка, покачивая животом, как бочонком, посмотрела на мой труд и сказала мужу:

– Ты его выпори!

Но хозяин миролюбиво заметил:

– Ничего, я сам начинал не лучше...

Отметив красным карандашом разрушения фасада, он дал мне еще бумаги.

– Валяй еще раз! Будешь чертить это, пока не добьешься толку...

Вторая копия у меня вышла лучше, только окно оказалось на двери крыльца. Но мне не понравилось, что дом пустой, и я населил его разными жителями: в окнах сидели барыни с веерами в руках, кавалеры с папиросами, а один из них, некурящий, показывал всем длинный нос. У крыльца стоял извозчик и лежала собака.

– Зачем же ты опять напачкал? – сердито спросил хозяин.

Я объяснил ему, что без людей – скучно очень, но он стал ругаться.

– К черту все это! Если хочешь учиться – учись! А это – озорство...

Когда мне наконец удалось сделать копию фасада похожей на оригинал, это ему понравилось.

– Вот видишь, сумел же! Этак, пожалуй, мы с тобой доделаем скоро...

И задал мне урок:

– Сделай план квартиры: как расположены комнаты, где двери, окна, где что стоит. Я указывать ничего не буду – делай сам!

Я пошел в кухню и задумался – с чего начать?

Но на этой точке и остановилось мое изучение чертежного искусства.

Подошла ко мне старуха хозяйка и зловеще спросила:

– Чертить хочешь?

Схватив за волосы, она ткнула меня лицом в стол так, что я разбил себе нос и губы, а она, подпрыгивая, изорвала чертеж, сошвырнула со стола инструменты и, уперев руки в бока, победоносно закричала:

– На, черт! Нет, это не сойдется! Чтобы чужой работал, а брата единого, родную кровь – прочь?

Прибежал хозяин, приплыла его жена, и начался дикий скандал: все трое наскакивали друг на друга, плевались, выли, а кончилось это тем, что, когда бабы разошлись плакать, хозяин сказал мне:

– Ты покуда брось все это, не учись – сам видишь, вон что выходит!

Мне было жалко его – такой он измятый, беззащитный и навеки оглушен криками баб.

Я и раньше понимал, что старуха не хочет, чтобы я учился, нарочно мешая мне в этом.

Прежде чем сесть за чертеж, я всегда спрашивал ее:

– Делать нечего?

Она хмуро отвечала:

– Когда будет – скажу, торчи знай за столом, балуйся...

И через некоторое время посылала меня куда-нибудь или говорила:

– Как у тебя парадная лестница выметена? В углах – сорье, пыль! Иди мети...

Я шел, смотрел – пыли не было.

– Ты спорить против меня? – кричала она.

Однажды она облила мне все чертежи квасом, другой раз опрокинула на них лампаду масла от икон, – она озорничала, точно девчонка, с детской хитростью и с детским неумением скрыть хитрости. Ни прежде, ни после я не видал человека, который раздражался бы так быстро и легко, как она, и так страстно любил бы жаловаться на всех и на все. Люди вообще и все любят жаловаться, но она делала это с наслаждением особенным, точно песню пела.

Ее любовь к сыну была подобна безумию, смешила и пугала меня своей силой, которую я не могу назвать иначе, как яростной силой. Бывало, после утренней молитвы, она встанет на приступок печи и, положив локти на крайнюю доску полатей, горячо шипит:

– Случайный ты мой, божий, кровинушка моя горячая, чистая, алмазная, ангельское перо легкое! Спит, – спи, ребенок, одень твою душеньку веселый сон, приснишь тебе невестушка,

первая красавица, королевшна, богачка, купецкая дочь! А недругам твоим – не родясь издохнуть, а друзьям – жить им до ста лет, а девицы бы за тобой – стаями, как утки за селезнем!

Мне нестерпимо смешно: грубый и ленивый Виктор похож на дятла – такой же пестрый, большеносый, такой же упрямый и тупой.

Шепот матери иногда будил его, и он бормотал сонно:

– Подите вы к черту, мамаша, что вы тут фыркаете прямо в рожу мне!.. Жить нельзя!

Иногда она покорно слезала с приступка, усмехаясь:

– Ну, спи, спи... грубиян!

Но бывало и так: ноги ее подгибались, шлепнувшись на край печи, она, открыв рот, громко дышала, точно обожгла язык, и клочкотали жгучие слова:

– Та-ак? Это ты мать к черту послал, сукин сын? Ах ты, стыд мой полуночный, заноза проклятая, дьявол тебя в душу мою засадил, сгнуть бы тебе до рождения!

Она говорила слова грязные, слова пьяной улицы – было жутко слышать их.

Спала она мало, беспокойно, вскакивая с печи иногда по нескольку раз в ночь, валилась на диван ко мне и будила меня.

– Что вы?

– Молчи, – шептала она, крестясь, присматриваясь к чему-то в темноте. – Господи... Илья пророк... Великомученица Варвара... сохрани нечаянной смерти...

Дрожащей рукой она зажигала свечу. Ее круглое носатое лицо напряженно надувалось, серые глаза, тревожно мигая, присматривались к вещам, измененным сумраком. Кухня – большая, но загромождена шкафами, сундуками; ночью она кажется маленькой. В ней тихонько живут лунные лучи, дрожит огонек неугасимой лампы пред образами, на стене сверкают ножи, как ледяные сосульки, на полках – черные сковородки, чьи-то безглазые рожи.

Старуха слезала с печи осторожно, точно с берега реки в воду, и, шлепая босыми ногами, шла в угол, где над лоханью для помоев висел ушастый рукомойник, напоминая отрубленную голову; там же стояла кадка с водой.

Захлебываясь и вздыхая, она пила воду, потом смотрела в окно, сквозь голубой узор инея на стеклах.

– Помилуй мя, боже, помилуй мя, – просит она шепотом.

Иногда, погасив свечу, опускалась на колени и обиженно шипела:

– Кто меня любит, Господи, кому я нужна?

Влезая на печь и перекрестив дверцу в трубе, она щупала, плотно ли лежат вьюшки; выпачкав руки сажей, отчаянно ругалась и как-то сразу засыпала, точно ее пришибла невидимая сила. Когда я был обижен ею, я думал: жаль, что не на ней женился дедушка, – вот бы грызла она его! Да и ей доставалось бы на орехи. Обижала она меня часто, но бывали дни, когда пухлое, ватное лицо ее становилось грустным, глаза тонули в слезах и она очень убедительно говорила:

– Ты думаешь – легко мне? Родила детей, нянчила, на ноги ставила – для чего? Вот – живу кухаркой у них, сладко это мне? Привел сын чужую бабу и променял на нее свою кровь – хорошо это? Ну?

– Нехорошо, – искренне говорил я.

– Ага? То-то...

И она начинала бесстыдно говорить о снохе:

– Бывала я с нею в бане, видела ее! На что польстился? Такие ли красавицами зовутся?..

Об отношениях мужчин к женщинам она говорила всегда изумительно грязно; сначала ее речи вызывали у меня отвращение, но скоро я привык слушать их внимательно, с большим интересом, чувствуя за этими речами какую-то тяжкую правду.

– Баба – сила, она самого бога обманула, вот как! – жужжала она, пристукивая ладонью по столу. – Из-за Евы все люди в ад идут, на-ка вот!

О силе женщины она могла говорить без конца, и мне всегда казалось, что этими разговорами она хочет кого-то напугать. Я особенно запомнил, что «Ева – бога обманула».

На дворе нашем стоял флигель, такой же большой, как дом; из восьми квартир двух зданий в четырех жили офицеры, в пятой – полковой священник. Весь двор был полон денщиками, вестовыми, к ним ходили прачки, горничные, кухарки; во всех кухнях постоянно разыгрывались романы и драмы, со слезами, бранью, дракой. Дрались солдаты друг с другом, с землекопами, рабочими домохозяина; били женщин. На дворе постоянно кипело то, что называется развратом, распутством, – звериный, неукротимый голод здоровых парней. Эта жизнь, насыщенная жестокой чувственностью, бессмысленным мучительством, грязной хвастливостью победителей, подробно и цинично обсуждалась моими хозяевами за обедом, вечерним чаем и ужином. Старуха всегда знала все истории на дворе и рассказывала их горячо, злорадно.

Молодая слушала эти рассказы, молча улыбаясь пухлыми губами. Виктор хохотал, а хозяин, морщась, говорил:

– Довольно, мамаша...

– Господи, уж и слова мне нельзя сказать! – жаловалась рассказчица.

Виктор поощрял ее:

– Валяйте, мамаша, чего стесняться! Всё свои ведь...

Старший сын относился к матери с брезгливым сожалением, избегал оставаться с нею один на один, а если это случалось, мать закидывала его жалобами на жену и обязательно просила денег. Он торопливо совал ей в руку рубль, три, несколько серебряных монет.

– Напрасно вы, мамаша, берете деньги, не жалко мне их, а – напрасно!

– Я ведь для нищих, я – на свечи, в церковь...

– Ну, какие там нищие! Испортите вы Виктора вконец.

– Не любишь ты брата, великий грех на тебе!

Он уходил, отмахиваясь от нее.

Виктор обращался с матерью грубо, насмешливо. Он был очень прожорлив, всегда голодал. По воскресеньям мать пекла оладьи и всегда прятала несколько штук в горшок, ставя его под диван, на котором я спал; приходя от обедни, Виктор доставал горшок и ворчал:

– Не могла больше-то, гвозди-kozyри!

– А ты жри скорее, чтобы не увидели...

– Я нарочно скажу, как ты для меня оладьи воруеть, вилки в затылке!

Однажды я достал горшок и съел пару оладей, – Виктор избил меня за это. Он не любил меня так же, как и я его, издевался надо мною, заставлял по три раза в день чистить его сапоги, а ложась спать на полати, раздвигал доски и плевал в щели, стараясь попасть мне на голову.

Должно быть, подражая брату, который часто говорил «звери-курицы», Виктор тоже употреблял поговорки, но все они были удивительно нелепы и бессмысленны.

– Мамаша – кругом направо! – где мои носки?

Он преследовал меня глупыми вопросами:

– Алешка, отвечай: почему пишется – синенький, а говорится – финики? Почему говорят – колокола, а не – около кола? Почему – к дереву, а не – где плачу?

Мне не нравилось, как все они говорят; воспитанный на красивом языке бабушки и деда, я вначале не понимал такие соединения несоединимых слов, как «ужасно смешно», «до смерти хочу есть», «страшно весело»; мне казалось, что смешное не может быть ужасным, веселое – не страшно и все люди едят вплоть до дня смерти.

Я спрашивал их:

– Разве можно так говорить?

Они ругались:

– Какой учитель, скажите! Вот – нарвать уши...

Но и «нарвать уши» казалось мне неправильным: нарвать можно травы, цветов, орехов.

Они пытались доказать мне, что уши тоже можно рвать, но это не убеждало меня, и я с торжеством говорил:

– А все-таки уши-то не оторваны!

Кругом было так много жестокого озорства, грязного бесстыдства – неизмеримо больше, чем на улицах Кунавина, обильного «публичными домами», «гулящими» девицами. В Кунавине за грязью и озорством чувствовалось нечто, объяснявшее неизбежность озорства и грязи: трудная, полуголодная жизнь, тяжелая работа. Здесь жили сытно и легко, работу заменяла непонятная, ненужная суতোлка, суета. И на всем здесь лежала какая-то едкая, раздражающая скука.

Плохо мне жилось, но еще хуже чувствовал я себя, когда приходила в гости ко мне бабушка. Она являлась с черного крыльца, входя в кухню, крестилась на образа, потом в пояс кланялась младшей сестре, и этот поклон, точно многопудовая тяжесть, сгибал меня, душил.

– А, это ты, Акулина, – небрежно и холодно встречала бабушку моя хозяйка.

Я не узнавал бабушки: скромно поджав губы, незнакомо изменив все лицо, она тихонько садилась на скамью у двери, около лохани с помоями, и молчала, как виноватая, отвечая на вопросы сестры тихо, покорно.

Это мучило меня, и я сердито говорил:

– Что ты где села?

Ласково подмигнув мне, она отзывалась внушительно:

– А ты помалкивай, ты здесь не хозяин!

– Он всегда суется не в свое дело, хоть бей его, хоть ругай, – начинала хозяйка свои жалобы.

Нередко она злорадно спрашивала сестру:

– Что, Акулина, нищенкой живешь?

– Эка беда...

– И все – не беда, коли нет стыда.

– Говорят – Христос тоже милостыней жил...

– Болваны это говорят, еретики, а ты, старая дура, слушаешь! Христос – не нищий, а сын божий, он придет, сказано, со славою судить живых и мертвых – и мертвых, помни! От него не спрячешься, матушка, хоть в пепел сожгись... Он тебе с Василием оплатит за гордость вашу, за меня, как я, бывало, помощи просила у вас, богатых...

– Я ведь посильно помогала тебе, – равнодушно говорила бабушка. – А господь нам оплатил, ты знаешь...

– Мало вам! Мало...

Сестра долго пилила и скребла бабушку своим неумолимым языком, а я слушал ее злой визг и тоскливо недоумевал: как может бабушка терпеть это? И не любил ее в такие минуты.

Выходила из комнат молодая хозяйка, благосклонно кивала головою бабушке.

– Идите в столовую, ничего, идите!

Сестра кричала вслед бабушке:

– Ноги оботри, деревня еловая, на болоте строена!

Хозяин встречал бабушку весело:

– А, премудрая Акулина, как живешь? Старичок Каширин дышит?

Бабушка улыбалась ему своей улыбкой из души.

– Все гнешься, работаешь?

– Все работаю! Как арестант.

С ним бабушка говорила ласково и хорошо, но – как старшая. Иногда он вспоминал мою мать:

– Да-а, Варвара Васильевна... Какая женщина была – богатырь, а?

Жена его обращалась к бабушке и вставляла слово:

– Помните, я ей тальму подарила, черную, шелковую, со стеклярусом?

– Как же...

– Совсем еще хорошая тальма была...

– Да-да, – бормотал хозяин, – тальма, пальма, а жизнь – шельма!

– Что это ты говоришь? – подозрительно спрашивала его жена.

– Я? Так себе... Дни веселые проходят, люди хорошие проходят...

– Не понимаю я, к чему это у тебя? – беспокоилась хозяйка.

Потом бабушку уводят смотреть новорожденного, я собираю со стола грязную чайную посуду, а хозяин говорит мне негромко и задумчиво:

– Хороша старуха, бабушка твоя...

Я глубоко благодарен ему за эти слова, а оставшись глаз на глаз с бабушкой, говорю ей, с болью в душе:

– Зачем ты ходишь сюда, зачем? Ведь ты видишь, какие они...

– Эх, Олеша, я все вижу, – отвечает она, глядя на меня с доброй усмешкой на чудесном лице, и мне становится совестно: ну, разумеется, она все видит, все знает, знает и то, что живет в моей душе этой минутой.

Осторожно оглянувшись, не идет ли кто, она обнимает меня, задушевно говоря:

– Не пришла бы я сюда, кабы не ты здесь, – зачем они мне? Да дедушка захворал, провозилась я с ним, не работала, денег нету у меня... А сын, Михайла, Сашу прогнал, поить-кормить надо его. Они обещали за тебя шесть рублей в год давать, вот я и думаю – не дадут ли хоть целковый? Ты ведь около полугода прожил уж... – И шепчет на ухо мне: – Они велели пожурить тебя, поругать, не слушаешься никого, говорят. Уж ты бы, голуба́ душа, пожил у них, потерпел годочка два, пока окрепнешь! Потерпи, а?

Я обещал терпеть. Это очень трудно. Меня давит эта жизнь, нищая, скучная, вся в суете, ради еды, и я живу, как во сне.

Иногда мне думается: надо убежать! Но стоит окаянная зима, по ночам воют вьюги, на чердаке возится ветер, трещат стропила, сжатые морозом, – куда убежишь?

Гулять меня не пускали, да и времени не было гулять: короткий зимний день истлевал в суете домашней работы неуловимо быстро.

Но я обязан был ходить в церковь: по субботам – ко всенощной, по праздникам – к поздней обедне.

Мне нравилось бывать в церквях; стоя где-нибудь в углу, где просторнее и темней, я любил смотреть издали на иконостас – он точно плавится в огнях свеч, стекая густо-золотыми ручьями на серый каменный пол амвона; тихонько шевелятся темные фигуры икон; весело трепещет золотое кружево царских врат, огни свеч повисли в синеватом воздухе, точно золотые пчелы, а головы женщин и девушек похожи на цветы.

Все вокруг гармонично слито с пением хора, все живет странною жизнью сказки, вся церковь медленно покачивается, точно люлька, – качается в густой, как смола, темной пустоте.

Иногда мне казалось, что церковь погружена глубоко в воду озера, спряталась от земли, чтобы жить особенною, ни на что не похожею жизнью. Вероятно, это ощущение было вызвано у меня рассказом бабушки о граде Китеже, и часто я, дремотно покачиваясь вместе со всем окружающим, убаюканный пением хора, шорохом молитв, вздохами людей, твердил про себя певучий, грустный рассказ:

Обложили окаянные татарове
Да своей поганой силищей,
Обложили они славен Китеж-град
Да во светлый час, заутренний...

Ой ли, Господи, боже наш,
Пресвятая Богородица!
Ой, сподобьте вы рабей своих
Достоять им службу утренню,
Дослушать святое писание!
Ой, не дайте татарину
Святу церковь на глумление,
Жен, девиц – на посрамление,
Малых детушек – на игрище,
Старых старцев на смерть лютую!

А услышал господь Саваоф,
Услыхала Богородица
Те людские вздыхания,
Христианские жалости.

И сказал господь Саваоф
Свет архангеле Михаиле:
– А поди-ка ты, Михайло,
Сотряхни землю под Китежом,
Погрузи Китеж во озеро;
Ин пускай там люди молятся
Без отдыху да без устали
От заутрени до всенощной
Все святы службы церковные
Во веки и века веков!

В те годы я был наполнен стихами бабушки, как улей медом; кажется, я и думал в формах ее стихов.

В церкви я не молился, – было неловко пред богом бабушки повторять сердитые дедовы молитвы и плачевные псалмы; я был уверен, что бабушкину богу это не может нравиться, так же как не нравилось мне, да к тому же они напечатаны в книгах, – значит, бог знает их на память, как и все грамотные люди.

Поэтому в церкви, в те минуты, когда сердце сжималось сладкой печалью о чем-то или когда его кусали и царапали маленькие обиды истекшего дня, я старался сочинять свои молитвы; стоило мне задуматься о невеселой доле моей – сами собою, без усилий, слова сла- гались в жалобы:

Господи, Господи – скушно мне!
Хоть бы уж скорее вырасти!
А то – жить терпенья нет;
Хоть удавись, – Господи прости!

Из ученья – не выходит толку.
Чертова кукла, бабушка Матрена,
Рычит на меня волком,
И жить мне – очень солоно!

Много «молитв» моих я и до сего дня помню, – работа ума в детстве ложится на душу слишком глубокими шрамами – часто они не зарастают всю жизнь.

В церкви было хорошо, я отдыхал там так же, как в лесу и поле. Маленькое сердце, уже знакомое со множеством обид, выпачканное злой грубостью жизни, омывалось в неясных, горячих мечтах.

Но я ходил в церковь только в большие морозы или когда вьюга бешено металась по городу, когда кажется, что небо замерзло, а ветер распылил его в облака снега, и земля, тоже замерзая под сугробами, никогда уже не воскреснет, не оживет.

Тихими ночами мне больше нравилось ходить по городу, из улицы в улицу, забираясь в самые глухие углы. Бывало, идешь – точно на крыльях несешься; один, как луна в небе; перед тобою ползет твоя тень, гасит искры света на снегу, смешно тычется в тумбы, в заборы. Посредине улицы шагает ночной сторож, с трещоткой в руках, в тяжелом тулупе, рядом с ним – трясется собака.

Неуклюжий человек похож на собачью конуру, – она ушла со двора и двигается по улице, неизвестно куда, а огорченная собака – за нею.

Иногда встретятся веселые барышни и кавалеры – я думаю, что и они тоже убежали от всеобщей.

Порою, сквозь форточки освещенных окон, в чистый воздух прольются какие-то особенные запахи – тонкие, незнакомые, намекающие на иную жизнь, неведомую мне; стоишь под окном и, приняв себя, прислушиваясь, – догадываешься: какая это жизнь, что за люди живут в этом доме? Всеобщая, а они – весело шумят, смеются, играют на каких-то особенных гитарах, из форточки густо течет меднострунный звон.

Особенно интересовал меня одноэтажный, приземистый дом на углу безлюдных улиц – Тихоновской и Мартыновской. Я наткнулся на него лунною ночью, в ростепель, перед масляницей; из квадратной форточки окна, вместе с теплым паром, струился на улицу необыкновенный звук, точно кто-то очень сильный и добрый пел, закрыв рот; слов не слышно было, но песня показалась мне удивительно знакомой и понятной, хотя слушать ее мешал струнный звон, надоедливо перебивая течение песни. Я сел на тумбу, сообразив, что это играют на какой-то скрипке, чудесной мощности и невыносимой – потому что слушать ее было почти больно. Иногда она пела с такой силой, что – казалось – весь дом дрожит и гудят стекла в окне. Капало с крыши, из глаз у меня тоже закапали слезы.

Незаметно подошел ночной сторож и столкнул меня с тумбы, спрашивая:

– Ты чего тут торчишь?

– Музыка, – объяснил я.

– Мало ли что! Пошел...

Я быстро обежал кругом квартала, снова воротился под окно, но в доме уже не играли, из форточки бурно вытекал на улицу веселый шум, и это было так не похоже на печальную музыку, точно я слышал ее во сне.

Почти каждую субботу я стал бегать к этому дому, но только однажды, весной, снова услышал там виолончель – она играла почти непрерывно до полуночи; когда я воротился домой, меня отколотили.

Ночные прогулки под зимними звездами, среди пустынных улиц города, очень обогащали меня. Я нарочно выбирал улицы подальше от центра: на центральных было много фонарей, меня могли заметить знакомые хозяев, тогда хозяева узнали бы, что я прогуливаю всеобщие. Мешали пьяные, городские и «гулящие» девицы; а на дальних улицах можно было смотреть в окна нижних этажей, если они не очень замерзли и не занавешены изнутри.

Много разных картин показали мне эти окна: видел я, как люди молятся, целуются, дерутся, играют в карты, озабоченно и беззвучно беседуют, – предо мною, точно в панораме за копейку, тянулась немая, рыбаья жизнь.

Видел я в подвале, за столом, двух женщин – молодую и постарше; против них сидел длинноволосый гимназист и, размахивая рукой, читал им книгу. Молодая слушала, сурово нахмурив брови, откинувшись на спинку стула; а постарше – тоненькая и пышноволосая – вдруг закрыла лицо ладонями, плечи у нее задрожали, гимназист отшвырнул книгу, а когда молоденькая, вскочив на ноги, убежала – он упал на колени перед той, пышноволосой, и стал целовать руки ее.

В другом окне я подсмотрел, как большой бородатый человек, посадив на колени себе женщину в красной кофте, качал ее, как дитя, и, видимо, что-то пел, широко открывая рот, выкатив глаза. Она вся дрожала от смеха, запрокидывалась на спину, болтая ногами, он выпрямлял ее и снова пел, и снова она смеялась. Я смотрел на них долго и ушел, когда понял, что они запаслись весельем на всю ночь.

Много подобных картин навсегда осталось в памяти моей, и часто, увлеченный ими, я опаздывал домой. Это возбуждало подозрения хозяев, и они допрашивали меня:

– В какой церкви был? Какой поп служил?

Они знали всех попов города, знали, когда какое евангелие читают, знали всё – им было легко поймать меня во лжи.

Обе женщины поклонялись сердитому богу моего деда, – богу, который требовал, чтобы к нему приступали со страхом; имя его постоянно было на устах женщин, – даже ругаясь, они грозили друг другу:

– погоди! Господь тебя накажет, он те скрючит, подлюю!..

В воскресенье первой недели поста старуха пекла оладьи, а они всё подгорали у нее; красная от огня, она гневно кричала:

– А, черти бы вас взяли!..

И вдруг, понюхав сковороду, потемнела, швырнула сковородник на пол и завывала:

– Ба-атюшки, сковорода-то скоромная, поганая, не выжгла ведь я ее в чистый-то понедельник, го-осподи!

Встала на колени и просила со слезами:

– Господи-батюшка, прости меня, окаянную, ради страстей твоих! Не покарай, Господи, дуру старую!..

Выпеченные оладьи отдали собакам, сковородку выжгли, а невестка стала в ссорах упрекать свекровь:

– Вы даже в посте на скоромных сковородах печете!..

Они вовлекали бога своего во все дела дома, во все углы своей маленькой жизни, – от этого нищая жизнь приобретала внешнюю значительность и важность, казалась ежечасным служением высшей силе. Это вовлечение бога в скучные пустышки подавляло меня, и невольно я все оглядывался по углам, чувствуя себя под чьим-то невидимым надзором, а ночами меня окутывал холодным облаком страх, – он исходил из угла кухни, где перед темными образами горела неугасимая лампада.

Рядом с полкой – большое окно, две рамы, разъединенные стойкой; бездонная синяя пустота смотрит в окно, кажется, что дом, кухня, я – все висит на самом краю этой пустоты и, если сделать резкое движение, все сорвется в синюю, холодную дыру и полетит куда-то мимо звезд, в мертвой тишине, без шума, как тонет камень, брошенный в воду. Долго я лежал неподвижно, боясь перевернуться с боку на бок, ожидая страшного конца жизни.

Не помню, как я вылез из этого страха, но я вылез скоро; разумеется, мне помог в этом добрый бог бабушки, и я думаю, что уже тогда почувствовал простую истину: мною ничего плохого еще не сделано, без вины наказывать меня – не закон, а за чужие грехи я не ответчик.

Прогуливал я и обедни, особенно весною, – непоборимые силы ее решительно не пускали меня в церковь. Если же мне давали семишник на свечку – это окончательно губило меня:

я покупал бабок, всю обедню играл и неизбежно опаздывал домой. А однажды ухитрился проиграть целый гривенник, данный мне на поминание и просфору, так что уж пришлось стащить чужую просфору с блюда, которое дьячок вынес из алтаря.

Играть хотелось страстно, и я увлекался играми до неистовства. Был достаточно ловок, силен и скоро заслужил славу игрока в бабки, в шар и в городки в ближних улицах.

Великим постом меня заставили говеть, и вот я иду исповедоваться к нашему соседу, отцу Доримедонту Покровскому. Я считал его человеком суровым и был во многом грешен лично перед ним: разбивал камнями беседку в его саду, враждовал с его детьми, и вообще он мог напомнить мне немало разных поступков, неприятных ему. Это меня очень смущало, и, когда я стоял в бедненькой церкви, ожидая очереди исповедоваться, сердце мое билось трепетно.

Но отец Доримедонт встретил меня добродушно ворчливым восклицанием:

– А, сосед... Ну, вставай на колени! В чем грешен?

Он накрыл голову мою тяжелым бархатом, я задышался в запахе воска и ладана, говорить было трудно и не хотелось.

– Старших слушаешься?

– Нет.

– Говори – грешен!

Неожиданно для себя я выпалил:

– Просвиры воровал.

– Это – как же? Где? – спросил священник, подумав и не спеша.

– У Трех Святителей, у Покрова, у Николы...

– Ну-ну, по всем церквам! Это, брат, нехорошо, грех, – понимаешь?

– Понимаю.

– Говори – грешен! Несуразный. Воровал-то, чтобы есть?

– Когда – ел, а то – проиграю деньги в бабки, а просвиру домой надо принести, я и украду...

Отец Доримедонт начал что-то шептать, невнятно и устало, потом задал еще несколько вопросов и вдруг строго спросил:

– Не читал ли книг подпольного издания?

Я, конечно, не понял вопроса и переспросил:

– Чего?

– Запрещенных книжек не читал ли?

– Нет, никаких...

– Отпускаются тебе грехи твои... Встань!

Я удивленно взглянул в лицо ему – оно казалось задумчивым и добрым. Мне было неловко, совестно: отправляя меня на исповедь, хозяева наговорили о ней страхов и ужасов, убедив каяться честно во всех прегрешениях моих.

– Я в вашу беседку камнями кидал, – заявил я.

Священник поднял голову и сказал:

– И это нехорошо! Ступай...

– И в собаку кидал...

– Следующий! – позвал отец Доримедонт, глядя мимо меня.

Я ушел, чувствуя себя обманутым и обиженным: так напрягался в страхе исповеди, а все вышло не страшно и даже не интересно! Интересен был только вопрос о книгах, неведомых мне; я вспомнил гимназиста, читавшего в подвале книгу женщинам, и вспомнил Хорошее Дело, – у него тоже было много черных книг, толстых, с непонятными рисунками.

На другой день мне дали пятиалтынный и отправили меня причащаться. Пасха была поздняя, уже давно стоял снег, улицы просохли, по дорогам курилась пыль; день был солнечный, радостный.

Около церковной ограды азартно играла в бабки большая компания мастеровых; я решил, что успею причаститься, и попросил игроков:

– Примите меня!

– Копейку за вход в игру, – гордо заявил рябой и рыжий человек.

Но я не менее гордо сказал:

– Три под вторую пару слева!

– Деньги на кон!

И началась игра!

Я разменял пятиалтынный, положил три копейки под пару бабок в длинный кон; кто собьет эту пару – получает деньги, промахнется – я получу с него три копейки. Мне повезло: двое целились в мои деньги, и оба не попали, – я выиграл шесть копеек со взрослых, с мужиков. Это очень подняло дух мой...

Но кто-то из игроков сказал:

– Гляди за ним, ребята, а то убежит с выигрышем...

Тут я обиделся и объявил сгоряча, как в бубен ударил:

– Девять копеек под левой крайней парой!

Однако это не вызвало у игроков заметного впечатления, только какой-то мальчуган моих лет крикнул, предупреждая:

– Смотрите, – он счастливый, это чертежник со Звездинки, я его знаю!

Худощавый мастеровой, по запаху скорняк, сказал ехидно:

– Чертенок? Хар-рошо...

Прицелившись налитком, он метко сбил мою ставку и спросил, нагибаясь ко мне:

– Ревешь?

Я ответил:

– Под крайней правой – три!

– И согру, – похвастался скорняк, но проиграл.

Больше трех раз кряду нельзя ставить деньги на кон, – я стал бить чужие ставки и выиграл еще копейки четыре да кучу бабок. Но когда снова дошла очередь до меня, я поставил трижды и проиграл все деньги, как раз вовремя: обедня кончилась, звонили колокола, народ выходил из церкви.

– Женат? – спросил скорняк, намереваясь схватить меня за волосы, но я вывернулся, убежал и, догнав какого-то празднично одетого паренька, вежливо осведомился:

– Вы причащались?

– Ну, так что? – ответил он, осматривая меня подозрительно.

Я попросил его рассказать мне, как причащают, что говорит в это время священник и что должен был делать я.

Парень сурово избычился и утрашающим голосом зарычал:

– Прогулял причастье, еретик? Ну, а я тебе ничего не скажу – пускай отец шкуру спустит с тебя!

Я побежал домой, уверенный, что начнут расспрашивать и неизбежно узнают, что я не причащался.

Но, поздравив меня, старуха спросила только об одном:

– Дьячку за теплоту – много ли дал?

– Пятачок, – наобум сказал я.

– И три копейки – за глаза ему, а семишник себе оставил бы, чучело!

...Весна. Каждый день одет в новое, каждый новый день ярче и милей; хмельно пахнет молодыми травами, свежей зеленью берез, нестерпимо тянет в поле слушать жаворонка, лежа на теплой земле вверх лицом. А я – чищу зимнее платье, помогаю укладывать его в сундук, крошу листовую табак, выбиваю пыль из мебели, с утра до ночи вожусь с неприятными, ненужными мне вещами.

В свободные часы мне совершенно нечем жить; на убогой нашей улице – пусто, дальше – не позволено уходить; на дворе сердитые, усталые землекопы, растрепанные кухарки и прачки, каждый вечер – собачьи свадьбы, – это противно мне и обижает до того, что хочется ослепнуть.

Я иду на чердак, взяв с собою ножницы и разноцветной бумаги, вырезаю из нее кружевные рисунки и украшаю ими стропила... Все-таки пища моей тоске. Мне тревожно хочется идти куда-то, где меньше спят, меньше ссорятся, не так назойливо одолевают бога жалобами, не так часто обижают людей сердитым судом.

...В субботу на Пасхе приносят в город из Оранского монастыря чудотворную икону Владимирской Божией Матери; она гостит в городе до половины июня и посещает все дома, все квартиры каждого церковного прихода.

К моим хозяевам она явилась в будни утром; я чистил в кухне медную посуду, когда молодая хозяйка пугливо закричала из комнаты:

– Отпирай парадную – Оранскую несут!

Я бросился вниз, грязный, с руками в сале и тертом кирпиче, отпер дверь, – молодой монах с фонарем в одной руке и кадиллом в другой тихонько проворчал:

– Дрыхнете? Помогай...

Двое обывателей вносили по узкой лестнице тяжелый киот, я помогал им, поддерживая грязными руками и плечом край киота, сзади топали тяжелые монахи, неохотно распевая густыми голосами:

– «Пресвятая Богородице, моли бога о нас...»

Я подумал с печальной уверенностью:

«Обидится на меня она за то, что я, грязный, несу ее, и отсохнут у меня руки...»

Икону поставили в передний угол на два стула, прикрытые чистой простыней, по бокам киота встали, поддерживая его, два монаха, молодые и красивые, подобно ангелам – ясноглазые, радостные, с пышными волосами.

Служили молебн.

– «О, всепетая мати», – высоким голосом выводил большой поп и все щупал багровым пальцем припухшую мочку уха, спрятанного в пышных волосах.

– «Пресвятая Богородице, помилуй нас», – устало пели монахи.

Я любил Богородицу; по рассказам бабушки, это она сеет на земле для утешения бедных людей все цветы, все радости – все благое и прекрасное. И, когда нужно было приложиться к ручке ее, не заметив, как прикладываются взрослые, я трепетно поцеловал икону в лицо, в губы.

Кто-то могучей рукой швырнул меня к порогу, в угол. Непамятно, как ушли монахи, унося икону, но очень помню: хозяева, окружив меня, сидевшего на полу, с великим страхом и заботою рассуждали – что же теперь будет со мной?

– Надо поговорить со священником, который поученее, – говорил хозяин и беззлобно ругал меня:

– Невежа, как же ты не понимаешь, что в губы нельзя целовать? А еще... в школе учился...

Несколько дней я обреченно ждал – что же будет? Хватался за киот грязными руками, приложился незаконно, – уж не пройдет мне даром это, не пройдет!

Но, видимо, Богородица простила невольный грех, вызванный искреннею любовью. Или же наказание ее было так легко, что я не заметил его среди частых наказаний, испытанных мною от добрых людей.

Иногда, чтобы позлить старую хозяйку, я сокрушенно говорил ей:

– А Богородица-то, видно, забыла наказать меня...

– А ты погоди, – ехидно обещала старуха. – Еще поглядим...

...Украшая стропила чердака узорами из розовой чайной бумаги, листиками свинца, листьями деревьев и всякой всячиной, я распевал на церковные мотивы все, что приходило в голову, как это делают калмыки в дороге:

Сижу я на чердаке,
С ножницами в руке.
Режу бумагу, режу...
Скушно мне, невеже!
Пыл бы я собакой —
Бегал бы где хотел,
А теперь орет на меня всякой:
Сиди да молчи, пострел,
Молчи, пока цел!

Старуха, разглядывая мою работу, усмехалась, качала головой.

– Ты бы вот этак-то кухню украсил...

Однажды на чердак пришел хозяин, осмотрел содеянное мною, вздохнул и сказал:

– Забавен ты, Пешков, черт тебя возьми... Фокусник, что ли, выйдет из тебя? Не догадешься даже...

Он дал мне большой николаевский пятак.

Я укрепил монету лапками из тонкой проволоки и повесил ее, как медаль, на самом видном месте среди моих пестрых работ.

Но через день монета исчезла, вместе с лапками, – я уверен, что это старуха стащила ее!

Глава V

Весною я все-таки убежал: пошел утром в лавочку за хлебом к чаю, а лавочник, продолжая при мне ссору с женой, ударил ее по лбу гирей; она выбежала на улицу и там упала; тотчас собрались люди, женщину посадили в пролетку, повезли ее в больницу; я побежал за извозчиком, а потом, незаметно для себя, очутился на набережной Волги, с двугривенным в руке.

Ласково сиял весенний день, Волга разлилась широко, на земле было шумно, просторно, – а я жил до этого дня, точно мышонок в погребе. И я решил, что не вернусь к хозяевам и не пойду к бабушке в Кунавино, – я не сдержал слова, было стыдно видеть ее, а дед стал бы злорадствовать надо мной.

Дня два-три я шлялся по набережной, питаюсь около добродушных крючников, ночуя с ними на пристанях; потом один из них сказал мне:

– Ты, мальчишка, зря треплешься тут, вижу я! Иди-ка на «Добрый», там посудника надо...

Я пошел; высокий, бородатый буфетчик, в черной шелковой шапочке без козырька, посмотрел на меня сквозь очки мутными глазами и тихо сказал:

– Два рубля в месяц. Паспорт.

Паспорта у меня не было, буфетчик подумал и предложил:

– Мать приведи.

Я бросился к бабушке, она отнеслась к моему поступку одобрительно, уговорила деда сходить в ремесленную управу за паспортом для меня, а сама пошла со мною на пароход.

– Хорошо, – сказал буфетчик, взглянув на нас. – Идем.

Привел меня на корму парохода, где за столиком сидел, распивая чай и одновременно куря толстую папиросу, огромный повар в белой куртке, в белом колпаке. Буфетчик толкнул меня к нему.

– Посудник.

И тотчас пошел прочь, а повар, фыркнув, оцетинил черные усы и сказал вслед ему:

– Нанимаете всякого беса, або дешевле...

Сердито вскинул большую голову в черных, коротко остриженных волосах, вытаращил темные глаза, напрягся, надулся и закричал зычно:

– Кто ты такой?

Мне очень не понравился этот человек, – весь в белом, он все-таки казался чумазым, на пальцах у него росла шерсть, из больших ушей торчали волосы.

– Я хочу есть, – сказал я ему.

Он мигнул, и вдруг его свирепое лицо изменилось от широкой улыбки, толстые, каленые щеки волною отошли к ушам, открыв большие лошадиные зубы, усы мягко опустились – он стал похож на толстую, добрую бабу.

Выплеснув за борт чай из своего стакана, налил свежего, подвинул мне непечатую французскую булку, большой кусок колбасы.

– Лопай! Отец-мать есть? Воровать умеешь? Ну, не бойся, здесь все воры – научат!

Говорил он, точно лаял. Его огромное, досиня выбритое лицо было покрыто около носа сплошной сетью красных жилок, пухлый багровый нос опускался на усы, нижняя губа тяжело и брезгливо отвисла, в углу рта приклеилась, дымясь, папироса. Он, видимо, только что пришел из бани – от него пахло березовым веником и перцовкой, на висках и на шее блестел обильный пот.

Когда я напился чаю, он сунул мне рублевую бумажку.

– Ступай купи себе два фартука с нагрудниками. Стой, – я сам куплю!

Поправил колпак и пошел, тяжело покачиваясь, щупая ногами палубу, точно медведь.

...Ночь, ярко светит луна, убегая от парохода влево, в луга. Старенький рыжий пароход, с белой полосой на трубе, не торопясь и неровно шлепает плицами по серебряной воде, навстречу ему тихонько плывут темные берега, положив на воду тени, над ними красно светятся окна изб, в селе поют, – девки водят хоровод, и припев «ай-люли» звучит, как аллилуйя...

За пароходом на длинном буксире тянется баржа, тоже рыжая; она прикрыта по палубе железной клеткой, в клетке – арестанты, осужденные на поселение и в каторгу. На носу баржи, как свеча, блестит штык часового; мелкие звезды в синем небе тоже горят, как свечи. На барже тихо, ее богато облил лунный свет, за черной сеткой железной решетки смутно видны круглые серые пятна, – это арестанты смотрят на Волгу. Всхлипывает вода, не то плачет, не то смеется робко. Все вокруг какое-то церковное, и маслом пахнет так же крепко, как в церкви.

Смотрю на баржу и вспоминаю раннее детство, путь из Астрахани в Нижний, железное лицо матери и бабушку – человека, который ввел меня в эту интересную, хотя и трудную жизнь – в люди. А когда я вспоминаю бабушку, все дурное, обидное уходит от меня, изменяется, все становится интереснее, приятнее, люди – лучше и милей...

Меня почти до слез волнует красота ночи, волнует эта баржа – она похожа на гроб и такая лишняя на просторе широко разлившейся реки, в задумчивой тишине теплой ночи. Неровная линия берега, то поднимаясь, то опускаясь, приятно тревожит сердце, – мне хочется быть добрым, нужным для людей.

Люди на пароходе нашем – особенные, все они – старые и молодые, мужчины и женщины – кажутся мне одинаковыми. Наш пароход идет медленно, деловые люди садятся на почтовые, а к нам собираются всё какие-то тихие бездельники. С утра до вечера они пьют, едят и пачкают множество посуды, ножей, вилок, ложек; моя работа – мыть посуду, чистить вилки и ножи, я занимаюсь этим с шести часов утра и почти вплоть до полуночи. Днем, между двумя и шестью часами, и вечером, от десяти до полуночи, работы у меня меньше, – пассажиры, отдыхая от еды, только пьют чай, пиво, водку. В эти часы свободна вся буфетная прислуга – мое начальство. За столом около отвода пьют чай повар Смурый, его помощник Яков Иваныч, кухонный посудник Максим и официант для палубных пассажиров Сергей, горбун, со скуластым лицом, изрытым оспой, с масляными глазами. Яков Иваныч рассказывает разные мерзости, посмеиваясь рыдающим смешком, показывая зеленые, гнилые зубы. Сергей растягивает до ушей свой лягушечий рот, хмурый Максим молчит, глядя на них строгими глазами неувливаемого цвета.

– Аз-зиаты! Мор-рдва! – изредка гулким голосом произносит старший повар.

Эти люди не нравятся мне. Толстый, лысенький Яков Иваныч говорит только о женщинах и всегда – грязно. Лицо у него пустое, в сизых пятнах, на одной щеке бородавка с кустиком рыжих волос, он их закручивает в иголку. Когда на пароход является податливая, разбитная пассажирка, он ходит около нее как-то особенно робко и пугливо, точно нищий, говорит с нею слащаво и жалобно, на губах у него появляется мыльная пена, он то и дело слизывает ее быстрым движением поганого языка. Мне почему-то кажется, что вот такими жирненькими должны быть палачи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.